

Ованес Азнаурян

В ожидании весны

Роман

В нулевые было больше надежды на будущее

Пролог

* * *

Տէր, նորութեա՛ւ. Տէր, նորութեա՛ւ. Տէր, նորութեա՛ւ*.

... все кончилось, и все потеряло смысл. Жизнь, все та же жизнь, стала отныне черно-белой, и ничто больше не радовало. Не было красок: ни весной, ни летом, ни даже осенью. А зимой была опять смерть. Черно-белая, но чаще — серая. Ах! Серая, серая жизнь! Ненужная, бессмысленная, как жизнь бездомной собаки, которая тычется носом в кучу мусора, но не находит ничего съестного. Люди перестали есть, что ли? Неужели люди не едят больше мяса? Видимо, нет. Иначе были бы и кости. Боже, хотя бы косточку! Одну!

— Иди, дружок. Ничего тут нет. Помирай, дружок, потому что жизнь кончилась, потому что все уезжают.

* * *

Տէր, նորութեա՛ւ.

И осталась одна большая жирная клякса.

И пианино было испорчено, и поэтому аккорд, весь черный и густой, продолжал звучать, хоть пальцы и оторвались от клавиш. А может, кто-то забыл снять ногу с педали? Продолжает давить на газ и скоро врежется в стену или слетит с поворота? Да, конечно, в пропасть. И конечно, пианино сожгут, чтоб согреться, и клякса испортит весь лист, и придется заново переписывать. Всегда переписывать. Переписывать до стены, до черного аккорда.

Азнаурян Ованес Грачикович — родился в 1974 году, окончил Ереванский педагогический институт, преподавал историю в школе. Печатался в «Литературной Армении», «Неве», «Дружбе народов», «Октябре» и др. журналах Автор сборников повестей и рассказов «Симфония одиночества» (Ереван, 2010) и «Симфония ожидания» (Ереван, 2014). Живет в Ереване. Предыдущая крупная публикация в «ДН» — главы из романа «Три церкви», 2016, 12.

* Господи, помилуй! (арм.)

Журнальный вариант.

* * *

Տէր, ողորմի՛ւն՝.

Все поменялось. Стихи стали прозой, и Поэт не улыбается, когда весной на деревьях появляются почки, и не плачет, когда осенью опадает последний лист. Поэт лишь копается в куче мусора. Տէր, ողորմի՛ւն՝. Почему люди стали травоядными?

Потому что сожгли пианино, потому что нет сил переписывать сначала.

* * *

Так было в 90-е. А потом случилось обнуление. Время стало стремительно убежать вперед, и всем начало казаться, что удалось оседлать *время бегущее*. И улететь навстречу рассвету. Ведь когда время движется, кажется, что рассвет уже скоро. Что после ночи не наступит ночь. Что после зимы не будет снова зима. И что будет вечер, будет утро, наступит день, и взойдет солнце. И мы скажем тогда: «Был Вечер, было Утро, и вот наступил День, и вошло Солнце». Мы посмотрим вокруг: вот это — река, это — холмы, горы, это — озеро, а это — лес. И тогда река станет Рекою, гора — Горою, холмы — Холмами, и озеро будет знать, что оно — Озеро, а лес — что он Лес. Мы посмотрим на небо и скажем: вот это — Небо, высокое, синее, а по Небу плывут Облака, и Облака будут плыть, как яхты. И это потому, что мы всему даем имя, и если б не было Человека, ничто не знало бы, что Оно то, что Оно есть.

И не будет больше такого, чтоб после Ночи была Ночь, но после Ночи всегда будет Утро, и взойдет Солнце. Оно есть всегда, даже если идет дождь и ты не видишь Его.

Тогда я, Ара Маноян, последний старик из прошлого, отшельник-писатель, вернусь в свой родной город, встану на площади и закричу:

— Смотрите, восходит Солнце! Разве вам недостаточно знать, что Солнце всегда есть? Я счастлив от того, что знаю это! Я знаю: Оно взойдет, и я счастлив! Я знаю, что после Зимы будет Весна. А разве вам недостаточно, что и вы это знаете? Разве не должно ваше сердце биться спокойнее от того, что вы знаете нечто, что ВЕРНО и не подлежит сомнению? Ведь это счастье знать такое! И это единственное, что можно знать ТОЧНО... Послушайте! Нужно всегда говорить правду, а говоря правду, вы сможете сказать лишь, что Утром восходит Солнце, что после Зимы всегда наступает Весна.

И тогда никто больше не уедет... И не будет последних дней.

Տէր, ողորմի՛ւն՝ ... Տէր, ողորմի՛ւն՝ ... Տէր, ողորմի՛ւն՝ ...

I

Палаток было две: маленькая оранжевая и красная большая. Они были разбиты рядом друг с другом в десяти шагах от воды, в тени деревьев. Там же, под деревьями, стояли сумки и рюкзаки. На веревках, которыми была прикреплена к кольям оранжевая палатка, висели мокрые полотенца, купальники, плавки и пара черных мужских носков.

Из красной палатки доносились звуки гитары. Играющий явно не был музыкантом, но, видимо, не придавал этому значения. В маленькой же палатке никого не было, а у самой воды на песке загорал человек. Он лежал на животе. На голове у него была белая панамка, и сквозь темные очки он смотрел, как по озеру плывет яхта. На яхте — какие-то люди, но их нельзя разглядеть. Сверху, с холмов, время от времени налетал холодный ветер, и человек, загоравший на берегу, чувствовал, как кожа его покрывается пупырышками.

Он повернул голову и бросил через плечо большой палатке:

— Заткнись же, наконец!

Но большая палатка оставила его слова без внимания и продолжала извергать из своего чрева стонущие звуки.

— Аствац им*, ты можешь не тренькать на этой идиотской гитаре?

Результат был прежним, и человек на берегу опять стал смотреть на озеро. Только сказал:

— Ну и черт с тобой!

Яхта отплыла уже далеко, и человек посмотрел на противоположный берег — там ничего не было — и на чаек. Чайки истерично смеялись и кружили низко над водой. Человек на берегу подумал: «Почему я так одинок?!»

Потом он крикнул:

— Аэлита! Скажи этому козлу, чтоб перестал!

— Он мне не мешает, — ответили из большой палатки.

«Տէր, սիրով!» — подумал человек и перевернулся на спину. По небу плыли облака. По небу по-прежнему плыли облака, только солнце было где-то в другом месте...

Аэлита же убедила себя в том, что треньканье Тиграна на гитаре ей не мешает. «Ну и пусть себе играет, — подумала она и посмотрела на шею, грудь и ноги Тиграна; он был в плавках. — Почему в палатке так жарко? Может оттого, что она красного цвета? А почему она красная? Даже смешно. Нигде нет красных палаток. Только наша».

Тигран продолжал играть.

— Я выйду, немного позагораю, — сказала ему Аэлита.

— Не надо, — откликнулся он.

— Почему?

— Не надо.

Они продолжали лежать рядом. Тигран играл на гитаре. Человек, загоравший на берегу, этого уже не слышал.

Потом они ушли подальше от лагеря и занимались любовью под деревом облепихи. До них доносились шум воды и крики чаек, но они не прислушивались. Пахло потом, сухой травой и еще чем-то. Они не сомневались, что их никто не видит, и это было на самом деле так. Тигран заметил, как белая бабочка села на желтый цветок. БА-БОЧ-КА, в ритме движений пронеслось по слогам у него в голове, потом Тигран опять закрыл глаза. Их никто не видел, и они были уверены в этом...

Когда он закурил, она посмотрела на него и, улыбнувшись, сказала:

— Спасибо.

Он ничего не ответил и только погладил ее по щеке. Поцеловать не захотел.

— Смотри, где одеяло. — Она рассмеялась. — Мы далеко зашли.

— Даже слишком, — сказал он. Одеяло, скомканное, пыльное, в травинках, лежало где-то внизу. Потом он увидел, как по бедру молодой женщины ползет божья коровка. — Щекотно? — спросил он.

— Нет. Почему она не взлетает? — Когда божья коровка доползла до живота, Аэлита напрягла мышцы. Божья коровка, обогнув пупок, поползла к груди.

— Ты ей нравишься, — сказал он.

— В таком случае она должна была остановиться вот здесь. — Она положила туда его руку. Потом стряхнула с себя насекомое и прижалась к мужчине.

— Докуривай скорее, — сказала она.

— Ты что, хочешь еще?

* Боже мой (арм.).

— Да. А что?
 — Пойдем лучше в лагерь.
 — Не хочу.
 — А по-моему, лучше вернуться. Нас уже давно нет. Они будут волноваться.
 — Вряд ли. И ты это знаешь. Что там? — Она показала рукой.
 — Яхта.— Он знал, что она без очков плохо видит.— Уже возвращается. Давай и мы вернемся.
 — Ну что ты занудствуешь? Надоело! — Аэлита села. Она была очень молодая и красивая.
 — Нам надо вернуться,— настаивал он.— Я чувствую это.
 — А ничего другого ты не чувствуешь? — Она прикоснулась к нему рукой.
 Он улыбнулся.
 — Да. Чувствую.
 — Зачем же нам возвращаться?
 — Пожалуй, ты права.
 — Если что-нибудь случится, нас позовут.
 — Да,— согласился он.
 — Тогда лежи спокойно.
 И он отбросил подальше окурочек.
 — Я сейчас покажу, в чем была ошибка божьей коровки,— сказал он.
 Она ответила:
 — Покажи. Покажи...
 А потом они услышали свои имена. Их звали.
 — Что там могло случиться? — Он был недоволен.
 Она, не открывая глаз:
 — Какая-нибудь чепуха.
 Когда они вернулись в лагерь, все уже бегали туда-сюда, царил настоящий переполох.
 — Что нам теперь делать? — Аэлита плакала.
 — Не надо было упускать яхту!
 — Тигран, мне страшно!
 — Слушай, ты не знаешь, куда остальные идиоты подевались? Нам машина нужна! Где же этот апуш* Гарик? Продолжай звать их... Громче! Зови Гарика! Зови Маргариту!

Тигран вылил две кружки севанской воды на того, кто лежал на прибрежном песке. Солнце уже заходило за холмы. Оно было там, где и должно было быть.

Не было только яхты.

Севан — высокогорное озеро, находящееся на высоте около 1900 метров над уровнем моря, и простой радиоприемник VEF 202 ловил здесь «Монте-Карло» и даже «Радио-Свобода». Благодаря этому радиоприемнику они тем летом и узнали, что умер Джо Дассен (Гарик: «Помните ту песню, “Salut”? Вот этот певец и умер...»), а за месяц до того — «В Москве умер муж Марины Влади Владимир Высоцкий». И они потом долго обсуждали: «Высоцкий умер! Высоцкий умер!»

Лежавшего же тем летом 1980 года в бессознательном состоянии на берегу озера Севан звали Ваге Саакян. Ему, как и остальным, в том числе и Тиграну, который спас его в итоге и с которым Ваге познакомился накануне, шел двадцать третий год. Он писал рассказы, мечтал вступить в ряды Союза писателей Армянской ССР и печататься в легендарном журнале «Гарун»**. Тогда главным редактором еще

* Идиот (арм.).

** «Гарун» — «Весна» (арм.) — литературно-художественный независимый общес-

была Анжик Акобян.

Накануне Ваге Саакян познакомился еще с одним человеком из компании Тиграна Гаспаряна. Это была рыжеволосая, такая же голубоглазая, как и сам Ваге, Тагуи (Тигран называл ее «ареви ктор» — «кусочком солнца»). Тагуи тоже спасла его, и они поженились через полтора года. Раньше всех друзей. Они стали жить у родителей Тагуи. Потому что у Ваге не было родителей. А у Ваге с Тагуи не было детей. Долгое, еще очень долгое время.

2

Долгое время прошло с тех пор, и вот двадцать первого марта 1982 года пошел последний снег. С утра. И шел весь день. И было воскресенье. Мануш с утра была не в настроении, потому что после разговора с дочерью накануне вечером плохо спала. Мануш не понимала, почему дочь ее Тагуи упрямится и не соглашается пойти к хекиму* Чалику из деревни Мардашат.

— Ты пойми,— говорила она.— Ты не молодеешь, а ребенка рожать надо в молодости.

— Мам, ты же образованный человек, как ты можешь посылать меня... к хекиму? Мы с Ваге сдавали анализы. Никаких проблем нет. Когда будет, тогда и будет. Отстань от меня уже с этим вопросом, вай!

— Ты не понимаешь,— грустно продолжала Мануш.— Хеким Чалик Мартиросян даже не помнит, сколько людей вылечил за тридцать девять лет занятий врачеванием. И тебе нечего стесняться. Он — семидесятилетний старик, у которого нет образования и нет документов, кстати сказать. Но по иронии судьбы, к нему обращались в течение десятилетий сотни людей, включая должностных лиц. Его домик в деревне Мардашат, говорят, всегда переполнен, к нему приезжают за помощью как из разных уголков Армении и всего Советского Союза, так и — скажу тебе по секрету — иностранцы, которые слышали о легендарном хекиме. Сходите к нему. Я хочу внуков!

— Иностранцы? — весело и ехидно переспросила Тагуи.— Откуда же у тебя такие сведения, мамуля, ты что, гэбэшница?

— Мне Араксик рассказывала, из третьего подъезда.

— Мама! Ты же кандидат наук! Коммунист! Партия не одобрит такого мракобесия! — И Тагуи, расхохотавшись, ушла в свою комнату.

На следующий день, в воскресенье, когда пошел последний снег, Мануш весь день хмурила брови и была немногословна.

— Как вам налить, густой или жидкий? — спросила она, разливая суп с макаронами и чечевицей.

— Мне жидкий,— ответила дочка, пианистка.

— Как вам будет угодно,— промямлил муж дочки.

— Мне все равно,— отозвался отец дочки, отправляя в рот черный хлеб с луком.

— Сразу же начинайте есть, пока горячий. А то тарелки холодные, суп быстро стынет.

За окном шел снег, и было двадцать первое марта. По календарю уже давно весна...

— Суп очень вкусный,— пробурчал тесть.— Это означает, что без пятидесяти граммов не обойтись. А?

твенно-политический журнал. Выходит в Ереване с 1967 года. До 1991 года был изданием Союза писателей и ЦК ЛКСМ Армении.

* Знахарь (*разг. арм.*).

- Не надо, я тебя прошу! — взмолилась теща.
- Надо, надо. Как не надо? В такую погоду как раз и надо выпить.— Тесть полез в шкаф за бутылкой и рюмками.
- Он пить не будет,— сказала дочка о своем муже, начинающем писателе Ваге Саакяне.— Он не хочет.
- Ты тоже не пей. Ведь один пить не будешь, правда? — У тещи появилась слабая надежда.
- Будешь? — спросил тесть своего зятя, оставив без внимания причитания женщин.
- Охотно,— отозвался Ваге.— Погода отвратительная.
- Вот и правильно.— Тесть разлил дешевую водку по рюмкам.— А почему, дорогой, твоя жена говорит за тебя, а?
- Не знаю.— Ваге пожал плечами и улыбнулся.— Ей кажется, что она умеет читать мои мысли, но она ошибается.
- Огненно-рыжая Тагуи ничего не сказала.
- Поссорились, да? — Тесть усмехнулся.— Бывает. Без этого в жизни никак. Ну... будь здоров.
- Тесть с зятем чокнулись.
- Хоррроший!..— охрипшим голосом сказал тесть.— Хорррроший!..— Потом поправился: — Очень хорошая водка! Ну, что сегодня нового случилось?
- Ничего особенного,— ответил Ваге Саакян, думая, что тесть спрашивает о его ссоре с женой.
- У нас на работе случилось ЧП,— сказала Тагуи.— Пожар. Маленький, правда. В одном кабинете нашего конса...* В бухгалтерии. Сгорело несколько документов.
- Выпьем за то, что ты работаешь не в бухгалтерии!
- Тесть с зятем опять чокнулись.
- Хоррроший черт! — сказал тесть о водке.
- Хотите добавки? — спросила теща.
- Нет,— поспешно ответил Ваге Саакян.
- А я бы съел еще,— сказал отец семейства.
- Ваге вздохнул. Если б знал, что тесть попросит добавки, он бы попросил тоже.
- А вы не дуйтесь друг на друга,— сказал тесть.— Всякое бывает. Как же без ссор? Без них нельзя.
- Ваге посмотрел в окно. Там все еще шел снег.
- Выпьешь еще? — спросил тесть.
- Нет! — ответила за мужа Тагуи.
- Да,— ответил Ваге и придвинул поближе к тестю свою рюмку.
- Тесть и зять чокнулись.
- Хоррроший, ес дра меры**...— прохрипел тесть.
- Папа!
- Тесть и зять закусили. Потом тесть расправился со второй тарелкой супа. Когда теща стала убирать со стола, Тагуи встала, чтоб пойти в комнату порепетировать, но Ваге остановил ее.
- Приготовь кофе, пожалуйста.

Тагуи уставилась на него. Ваге впервые о чем-то ее попросил, да еще в таком тоне!

* Консерватории.

** Мать его... (арм.).

— Ты что, не слышишь? Приготовь кофе. Я хочу кофе! Я буду пить кофе и писать рассказ! А потом пойду гулять с Гариком! Вот!

3

Чах* Гарик с Мэри гуляли по улице Абовяна в Ереване вверх и вниз. Было воскресенье. Октябрь 1984 года. Мэри почти все время молчала, и не столько потому, что так принято вести себя скромной даме, сколько потому, что она еще почти не умела говорить — ей совсем недавно исполнилось два года. Только иногда она показывала на что-то пальцем и, привлекая внимание отца к интересному объекту, произносила один слог. Приблизительно так:

— Папа, ба! — Это означало «соБАка» или «БАбочка». Или: — Папа, Ко (КОшка); пти (ПТИчка).

Надо заметить, что Мэрико было глубоко плевать на всяких «прямоходящих» и, может быть, «разумных».

День был солнечный, светлый. Молодой инженер Гарик Маркосян старался полностью отдаться этому воскресному дню и постараться отключить мозги, что означало — отдохнуть перед новой рабочей неделей. Гуляя так по улице Абовяна, Гарик с Мэрико свернули в узкий перешеек маленькой улочки Агаяна и направились к церквушке.

Построенная еще в XIII веке, церковь-часовня приютилась между двумя высотными зданиями. Церквушку эту со стороны улицы скрывало тогда здание Института языков, и ее нельзя было увидеть, однако в 2007 году здание института (а еще раньше в этом здании находилась Академия наук) снесут, и после семидесятилетнего «плена» церковь вновь предстанет перед глазами ереванцев, и в ней будут проходить службы... Крестово-купольная церковь очень маленькая, крохотная, поэтому молящиеся в основном будут стоять у входа во дворе. Там же люди будут ставить свечки на длинном столе под сенью большого дерева. Но все это будет потом. А пока стоял октябрь 1984 года, и Гарик с двухлетней Мэрико просто прошли по узкой улочке Агаяна вверх мимо церквушки Св. Богородицы, или, как все ее называли, Катогике, и Гарик не знал, перекреститься ему или нет, хоть и был крещен. Гарик помнил эти крестины. Ему шел шестой год. Дед Гарика, который решил, что мальчика нужно крестить, был директором крупного комбината, человеком партийным и участником ВОВ. И поэтому тер-тера** пригласили домой за определенную плату, чтоб не было никаких разговоров. На квартире и был совершен обряд. Маленький Гарик мало что понимал в нем, конечно. Он знал, что должен просто стоять, держать в руке свечку и терпеть боль от капающего раскаленного воска, да еще время от времени целовать неприятно холодный крест. Гарик вспомнил теперь еще, что мама спросила тер-айра***, можно ли освященную воду вылить в раковину или в унитаз, на что священник посоветовал вылить воду, эту самую, освященную, на землю — во дворе или на улице под каким-нибудь деревом.

Выйдя на улицу Терьяна, Гарик и Мэрико пошли в сторону Лебединого озера, где плавали два лебедя — белый и черный, а оттуда через площадь Оперы — на Проспект. Ереванцы так и не научились называть главный проспект города «проспектом имени Ленина», как и впоследствии «проспектом имени Маштоца». Для ереванцев он был просто Проспект. Как и площадь Ленина (впоследствии площадь Республики) — просто Площадь, а Арарат — просто Гора. Прочитав *вместе* с Мэрико афиши Театра оперы и балета, они перешли к зданию Консерватории.

* Толстый (арм.).

** Священник (арм.).

*** Святой отец (арм.).

В парке перед Консерваторией было кафе под открытым небом. Они сели неподалеку от него на скамейке, и дочка Гарика стала разглядывать птиц.

— Папа, пти!

— Да, птичка... видишь, она клюет семечки, которые кто-то рассыпал.

Мэрико кивнула и улыбнулась. А потом указала пальцем на большие зонты над столиками кафе и сказала:

— Фе...

— Да, это кафе, — подтвердил Гарик и загнулся... За одним из столиков сидела очень красивая женщина с крашеными волосами. Одна. И курила. Тогда в Ереване почти невозможно было увидеть, чтоб женщина сидела в кафе и курила, да еще и одна...

Гарик не почувствовал удара током, сердце не застучало, дыхание не остановилось. Он просто ощутил страшную, невероятную, нестерпимую тоску. Это было похоже на тоску по дому, который сгорел дотла во время пожара. И еще — на ощущение, что дом этот уже не вернуть. Это было похоже на какое-то предупреждение, что ли, или предсказание чего-то, что будет потом...

Гарик позвал Мэрико, которая погналась за голубем с криком: «Папа, го!», взял ее за руку, и они вышли из парка перед Консерваторией. Продолжая идти вверх по Проспекту, Гарик и Мэрико увидели на безоблачном небе сразу два самолета, и Гарик подумал: «Надо загадать желание», но почему-то испугался. Он ведь уже давно решил ничего не загадывать. Знал, что за это можно получить по носу, и будет очень больно...

Однажды он загадал... загадал перед самым Новым годом. И тогда Маргарита, дочка живого классика армянской литературы Ара Манояна, с разбега, без оглядки прыгнула к нему в сердце и натворила там черт знает что. Это было чудо, уготованное ему на новогодние праздники, думал он. Просто ни он, ни она тогда не знали: подарок это или проклятие. Загадал — и вот: сбылось. И они поженились. И родилась Мэрико. А потом... Потом сразу куда-то все ушло, растворилось, просыпалось сквозь пальцы, утекло. Но это тоже будет потом.

А пока...

Пока наступил октябрь. И на город опустился вечер. Мэрико спала в спальне, в своей кроватке, за окном моросил дождь. Гарик и Маргарита сидели за кухонным столом, ужинали. Монотонно гудел холодильник, чайник на электрической плите ни за что не хотел закипать.

Стены кухни были покрашены в голубой цвет, и кухонная мебель тоже была голубой. Но из-за желтой люстры все казалось желтым, грязным, мутным.

Сидя за кухонным столом, Гарик видел, что в прихожей горит свет. Нужно пойти выключить, подумал он, но продолжал сидеть. Он нервничал оттого, что чайник так долго не закипает.

Маргарита ела и одновременно думала, помыть ли после ужина посуду, накопившуюся за день, или постирать белье, накопившееся за неделю. Она размышляла над этим минут пять и в конечном итоге решила отложить и то и другое на завтра. Решив, она успокоилась и покосилась на чайник.

Гарик и Маргарита молчали.

Ему больше не хотелось есть салат, приготовленный женой из вареной картошки и вареных яиц, тем более что Маргарита переборщила с перцем. Гарик не любил острое. Ему сейчас хотелось чаю, и он нервничал все больше и больше. Перестав есть, он посмотрел на стену поверх женой головы.

Она чувствовала, что муж сердит на нее, но не понимала почему. Она перебирала в памяти весь этот дождливый октябрьский день, с утра и до этой вечерней минуты, но не могла вспомнить ничего ТАКОГО. Нет, думала Марго, совесть моя чиста.

Просто он не в духе. Может, что-то случилось на работе. Но при чем тут я?

Маргарита встала, отлила из чайника немного воды в раковину и снова поставила его на плиту.

— Так скорее закипит,— сказала она и села на место.

— Могла и раньше догадаться,— заворчал Гарик и снова уставился на точку в стене.

— А чего не подсказал, раз умный такой? — съязвила Маргарита.

Гарик ничего не ответил жене и почувствовал, что сейчас взорвется. Секунд шесть-семь он учащенно дышал, но потом неожиданно для себя успокоился и размышлял уже спокойно.

Вот ведь как бывает, думал он. Оказывается, все проходит. Исчезает бесследно, как будто и не было ничего. Оказывается, семейная жизнь убивает своей обыденностью, и остается только этот желтый свет. Страшно подумать, что все затухает и создается впечатление, будто сразу задули тысячу свечей. И что можно осознать: совершена ошибка, большая, большая ошибка! А кто виноват? Не знаешь. Наверное, никто. Просто в жизни так бывает. И тебе кажется, что что-то ушло и ты до неузнаваемости изменился...

Все ушло, думал Гарик. Стерлось. И мог ли кто-нибудь предположить, что все то неистовство, безумство погрязнет в болоте обыденности? Что все сведется к тому, чтоб идти на работу, возвращаться домой, есть и спать? Где любовь, боже мой? Куда она подевалась? Ведь была же! Честное слово, была! И какая!..

— Этот чайник сегодня не закипит! — закричал он.

Маргарита спокойно ответила:

— А ты займись чем-нибудь.— Она встала и ушла из кухни в комнату.

Тут что-то очень тяжелое сдавило Гарику грудь, и он закричал. Громко, очень громко!

— Эй, ты! Не смей мне указывать, что делать! Слышишь? Твою мать! Не смей больше!

В ответ, конечно, тоже крик. Истошный крик Маргариты:

— Что ты на меня взъелся, а? Что я сделала? В чем провинилась? Что с тобой вообще происходит?

Гарик закурил и вышел на балкон. Там было темно и слышно, как моросит дождь: «Неужели можно разлюбить человека, которого обожал?! Ведь я ее больше не люблю! Не люблю! НЕ ЛЮБЛЮ!!!»

Маргарита Маноян лежала на диване в комнате и тихо плакала. И думала о том, что Гарик очень изменился. А может, он и был таким? Просто до женитьбы эти черты его характера не проявлялись?

«Не знаю, боже мой, не знаю!..»

Гарик же стоял на балконе и сквозь стекло двери видел, как из чайника повалил пар. Пар, как и все остальное на кухне, был желтым. Все было желтое, грязное, мутное.

Гарик не знал, как быть дальше.

Чах Гарик не знал, как жить потом.

4

А потом наступил ноябрь, и начались беспрерывные дожди — последняя дань осени людям. Недели через две дождь превратится в снег и город преобразится, но пока была еще осень и шел дождь. Он шел с утра, и казалось, что в Ереване все время вечер: в домах горел свет и было по-вечернему грустно. На улице воздух был чист и пах опавшими листьями — и откуда-то еще доносился запах дыма, как будто разожгли костер. Вместе с дождем этот запах кружил голову.

То было время, когда Ваге Саакян бродил по улицам Еревана. Предательски замерзали нос и руки, а рядом по мокрому асфальту шипели грязные авто, скапливаясь под лениво меняющим цвета светофором. Шел дождь, и ему нравилось бродить так и думать, что у него есть время. Вместе с тем он не знал, куда себя деть. Мимо него проходили многочисленные зонтики — все мокрые и разноцветные.

Он долго бродил так, потом *рискнул* зайти в кафе «Сказка», недалеко от Лебединого озера, на улице Туманяна. Он заказал кофе и занял столик у окна. Большие окна этого кафе запотели от внутреннего тепла, и нельзя было увидеть улицу, но все же чувствовалось, что там идет дождь. Он распахнул куртку, снял берет (берет — из пижонства: чистая хемингуэевщина) и закурил: под кофе было очень вкусно курить сигарету.

За соседним столиком сидела молодая женщина с сыном. Женщина пила кофе, а мальчик — ему было лет шесть-семь — ел пирожное. Набив рот, он пытался что-то рассказывать. Получалось очень смешно, и женщина смотрела на сына с улыбкой. На шее у нее был повязан сиреневый платок, и плащ тоже был сиреневого цвета. Женщина была красивая, на вид не старше тридцати — тридцати пяти лет. Мальчик был одет в смешную кожаную куртку, на голове — матросская бескозырка с двумя черными лентами сзади, на которых золотыми нитками было вышито «Крейсер «Аврора»». У мальчика были большие голубые глаза, широкий лоб. Длинные светло-каштановые волосы его выглядывали из-под бескозырки и падали на глаза, и мальчик то и дело правой рукой отводил их. Правая рука у него была в красках; может быть, мальчик любил рисовать... Теперь он ел пирожное и что-то рассказывал женщине в сиреновом плаще. Ваге Саакян подумал, что ему приятно смотреть на женщину и мальчика, и он смотрел на них и пил свой кофе. Когда мальчик закончил есть, они ушли, и Ваге остался один (такое было чувство, хотя кафе было переполнено).

Приятно сидеть в теплом кафе, зная, что на улице дождь и холод, и Ваге Саакян еле удержался от соблазна заказать еще кофе, но вместо этого опять закурил. Он купил новую пачку сигарет «Космос» и мог не беспокоиться за будущее.

Одному ему пришлось оставаться недолго: за столик, где сидели мальчик и женщина, теперь сели девушка и парень. Ваге видел, как они вошли, неся с собой запах дождя. Он заметил в них какую-то скованность и неуверенность. Им принесли кофе, но маленькие с красной розой чашечки были треснуты и без ушек, и парень от этого густо покраснел. Девушка оценила смущение парня и сказала: зато кофе здесь, в «Сказке», очень вкусный.

— Правда? — обрадовался парень, и они почему-то рассмеялись. А Ваге подумал, что девушка не ошиблась: кофе был действительно очень вкусный.

По их неуверенности и по тому, как парень не рисковал смотреть девушке в глаза, Ваге сделал вывод, что это их первое свидание. Они почти все время молчали, и парень нервничал оттого, что не знал, о чем говорить. Но, казалось, он был счастлив уже тем, что девушка рядом и он дышал с ней одним воздухом. Воздухом теплого кафе.

Молодой человек достал сигареты и закурил.

— Почему ты так много куришь? — спросила девушка. Он посмотрел на нее и сказал, что ему просто хочется курить, что он курит уже давно и вообще не знает, почему курит.

— Дай мне тоже, — сказала девушка. — Я хочу попробовать.

Парень сначала не знал, дать девушке сигарету или нет; он не знал, как лучше, правильнее. Но потом все же дал сигарету, и девушка закурила. В тот первый день, наверное, молодой человек решил не противиться ей ни в чем: ведь все еще было так зыбко, и он боялся, как бы по его вине что-то не сломалось. А девушка курила,

не закашливаясь, и казалось, что это ее веселит. Ей было, может быть, весело от мысли, что она курит в кафе и рядом с ней сидит ее парень. У девушки были подведенные карандашом глаза и коротко остриженные рыжие волосы. Девушка была в короткой джинсовой юбке и бежевой блузке, а поверх нее — в курточке из толстой грубой ткани с большими квадратами. Ваге Саакян заметил, что у нее длинные, тонкие, но сильные пальцы (пальцы пианистки?); были видны вены, чуть вздувшиеся. Ваге был рад, что у нее такие руки, и вспомнил, что она разбирается в кофе. Парень взял ее руку и приблизил к губам.

— Давай пойдем, погуляем по городу,— сказала она.

— Ты не хочешь больше курить? — спросил он.

— Нет.— Она улыbnулась.— И вообще я решила, что не буду курить.

Молодой человек обрадовался этому: все же он не хотел, чтобы девушка курила. Он положил сигареты и спички в карман плаща, и они ушли. Ваге Саакяну тоже надо было уходить, хотя было жаль оставлять теплое кафе. Когда он вышел на улицу, ему в лицо сразу ударил запах дождя, и он увидел девушку и парня: они шли, взявшись за руки. Ваге направился в сторону Оперы.

Площадь Оперы (или Театральная площадь) была пустынна и, как все остальное, мокра. Выпив из пулпулака* воды, он пересек улицу Саят-Нова и вошел в парк перед Консерваторией. Он знал, что не придется долго ждать, и поэтому не сел на скамейку — скамейки тоже все были мокрые,— а стал гулять. С деревьев капало, и время от времени, если дул ветер, падали листья. А под ногами они жалобно шелестели.

Ваге не заметил, как из Консерватории вышла Тагуи, рыжая, голубоглазая; она просто вдруг оказалась рядом, и Ваге вздрогнул от неожиданности. На вид она была уставшей (такой уставший кусочек солнца), и Ваге сказал, что они могут пойти домой и насладиться одиночеством до вечера — ведь родители Тагуи уехали на всю ночь. Тагуи отказалась, и они решили просто погулять по городу. Ваге рассказал, как заходил в кафе, о женщине с маленьким сыном и о влюбленной паре. Он рассказал, как парень сначала не знал, дать девушке сигарету или нет. Тагуи рассмеялась и сказала, что это напомнило ей о том, что ей до смерти хочется курить. Они вернулись в парк перед Консерваторией и сели на мокрую скамейку. Ваге дал Тагуи сигарету и помог прикурить.

— А тебе все равно, курю я или нет, правда? — спросила Тагуи.

— Нет. Но я думаю, что ты можешь делать все, что хочешь,— ответил он.

— Неужели?

— Да.

Тагуи ничего не сказала и продолжала курить. Он тоже закурил; курить под дождем было очень хорошо.

— А странно: мы уже не влюбленная пара. Мы просто муж и жена, но у нас нет ребенка. У всех есть: у Маргариты, у Аэлиты, а у меня нет ребенка,— сказала она. Потом сказала, что друзья-музыканты пригласили ее на какой-то день рождения, и они могут пойти туда вместе, и они пошли. Дом, где праздновали день рождения, находился недалеко: в конце улицы, тянувшейся от кафе «Козырек». Это кафе закрывают, когда начинаются холода, и теперь оно было закрыто, столики же и стулья собраны в кучу под деревом. Вся площадка кафе была устлана ковром из опавших листьев.

Улочка, по которой они шли, была пустынна, и шаги их раздавались громко и гулко. Уже в подъезде стала слышна музыка, и Тагуи, посмотрев на Ваге, улыbnулась. Когда они вошли в квартиру, она познакомила Ваге со всеми; все они были ее знакомыми.

* Питьевой фонтанчик.

Парни ходили по квартире с бокалами шампанского в руках, а девушки в большинстве своем сидели на большом длинном диване. Некоторые танцевали, и никто не мешал влюбленным, те спокойно целовались в коридоре или спальном комнате.

Тагуи куда-то ушла. Ваге Саакян сел на диван, и ему какой-то сердобольный парень с большой головой, в очках, с грустными глазами альтиста налил шампанского. Ваге пил шампанское и курил. Потом сидевшая рядом девушка сказала, что он не должен разрешать Тагуи так много курить, и Ваге ответил, что впрямь он вообще не позволит, чтоб Тагуи курила. Девушка улыбнулась ему. У нее был большой рот с пухлыми губами. Она была в черных туфлях, очень похожих на индейские мокасины, и коротком вязаном платье цвета выжженной глины, в ушах — красные клипсы. У нее были красивые ноги в красных колготках. Она спросила, когда Ваге и Тагуи познакомились. Он ответил, что не помнит, и девушка рассмеялась. Она говорила что-то еще, но Ваге ее не слушал, потому что искал глазами Тагуи. Ее нигде не было. Потом она появилась откуда-то и подошла к нему.

— Ну, как ты? — спросила Тагуи.

Ваге ответил:

— Второй бокал шампанского и четвертая сигарета.

— Нормально. Дай и мне.

Он дал ей сигарету, назвал девушке в мокалинах.

— Скоро мы уйдем. — Тагуи глубоко затянулась и с шумом выпустила дым.

— Почему так рано? — спросил Ваге, хотя в душе был рад, что они уйдут отсюда.

— Не знаю, — ответила Тагуи; она казалась еще больше усталой. — Мне не хочется здесь больше оставаться. А ты ревнуешь?

— Вполне себе гогеновский вопрос, не думаешь? Помнишь ту его картину? Ты сказала, что она тебе нравится*.

Пятнадцать минут спустя они ушли. Уже было темно, дождь продолжался. Ты не видел его, но он время от времени капал тебе на нос. Стало холоднее, и руки у Ваге быстро замерзли. У Тагуи они тоже замерзли, он засунул ее руку в карман своего плаща. Тагуи сказала, что хотела бы посидеть где-нибудь, и они зашли в кафе «Сказка». Сели за столик, за которым Ваге сидел днем.

В зале свет уже погасили, он горел лишь за стойкой. Там женщина готовила им кофе и одновременно кричала на свою дочь, девочку лет тринадцати, которая там же готовила уроки. В кафе никого больше не было, Ваге показал Тагуи соседний столик и сказал, что за ним сидели женщина с сыном в матросской бескозырке, потом девушка и парень. Это было его сегодняшнее приключение, и он хотел рассказывать о нем снова и снова. Им подали кофе (в треснутых чашках, без ушек), они стали пить и, как обычно, курили. Ваге взглянул, не смотрит ли женщина (она не смотрела, помогала дочери), и стал целовать Тагуи. У нее были уставшие глаза, и он ее любил. Он целовал ее долго, потом они встали, чтобы уйти, и только тогда женщина сказала, что кафе закрывается. Они поблагодарили ее.

На улице Тагуи опять стала мерзнуть, и они пошли быстрее, чтобы она согрелась. Пришли домой и легли в постель. И долго еще не могли заснуть. Потому что была осень, потому что было слышно, как идет усилившийся дождь. Утром Ваге Саакян встал рано-рано, перед самым рассветом, и написал рассказ, бесхитростный и чистый, под названием «Крейсер «Аврора»». В свои тридцать лет Ваге Саакян был уже год как членом Союза писателей Армянской ССР, правда, он не знал, захочет ли напечатать его рассказ новый главный редактор журнала «Гарун» Меружан Тер-

* «А, ты ревнуешь?» картина французского художника Поля Гогена, написанная им в полинезийский период творчества.

Гуланян.

... А через две недели дождь превратился в снег, и город стал другим. Люди надели шубы и пальто, зонтики исчезли. Через два месяца наступил 1988 год, а через три — все изменилось, и с тех пор уже менялось все время*. Старое начинало забываться, и никто не знал, когда снова станет легко и просто, потому что потом случился 1991 год, и наступила Эпоха Страшных Зим.

Տըր, յիմարստիւ՛...

5

Տըր, յիմարստիւ՛. Տըր, յիմարստիւ՛. Տըր, յիմարստիւ՛.

Наступила Эпоха Страшных Зим, и все жили в ту эпоху и не знали, когда она закончится.

И когда они встречали тот Новый, 1993 год, вообще ничего не знали. Встречали дома у Тиграна и Аэлиты. Это было тогда, когда у них в друзьях еще ходил Арам Назарян, обворожительно улыбающийся АН-35.

Они сбежали в гараж Тиграна и напились, не закусывая, потому что нечем было особо закусывать. Они пили, потом еще пили, но не могли заснуть, как ни старались.

— Так мы умрем,— сказал Тигран Гаспарян.

— Не умрем,— возразил Ваге.

— А что, выпить есть еще? — спросил Тигро.

— Смотри,— ответил Ваге,— осталось-таки.

И потом Тигран сказал: странно, что ереванцы не кончают с собой, потому что такую жизнь невозможно вынести. И тогда Ваге сказал, что самоубийства начнутся весной, с приходом марта. Тигро согласился с ним, потому что так было и в прошлом году, и подумал: так будет и в этом (лучше б он так не думал).

Ваге продолжал:

— Люди будут убивать себя, потому что весна им ничего не даст, кроме непрерывных дождей. Весной у человека все клапаны открываются, и чем труднее зима, тем весной они открываются больше, и отверстия заливают дождевой водой. Человек кончает собой, чтоб не задохнуться. Клапаны — это очень важно,— докончил Ваге и вытащил пробку из бутылки.

Бутылка сказала: «Хлоп!»

И тогда чах Гарик прошептал:

— Серая, серая жизнь!

Они лежали в гараже, в машине Тиграна, и пили. На полках вдоль стен стояли бутылки и свечи. Они назло всем выключили свет и зажгли свечи. В новогоднюю ночь правительство подарило Еревану электричество. На два дня: тридцать первого и первого. От свечек по стенам гаража извивались длинные тени.

Гарик снова вздохнул.

— Серая, серая жизнь! — Потом присел, включил магнитофон и снова лег. И они втроем стали слушать Баха. И Гарик заплакал, потому что тоже был очень пьян. И когда он заплакал, Ваге и Тигран приложились к своим бутылкам (в ту ночь они отвергли понятие «рюмка»).

Прослушав всю кассету до конца, они прихватили по бутылке и пошли гулять по Еревану. Шел снег. Они отправились к Опере. На площади Оперы было много людей; они танцевали, и в небо то и дело взлетали петарды. Под большой елкой

* 20 февраля 1988 года внеочередная сессия народных депутатов НКАО обратилась к Верховным Советам Армянской ССР, Азербайджанской ССР и СССР с просьбой рассмотреть и положительно решить вопрос о передаче НКАО из состава Азербайджана в состав Армении. 7 декабря в Армении произошло страшное Спитакское землетрясение.

кружили дети, очень громко играла музыка. И вдруг Гарик закричал:

— Скоты! Скоты! Что вы веселитесь? Бараны!!!

Гарика кто-то ударил, и он упал на снег. Затевать драку не имело смысла (они были слишком пьяны), к тому же ударивший тут же исчез, они и не разглядели его. Ваге и Тигран оттащили Гарика в сторону. Он притих и уже больше не кричал. У него из носа текла кровь, Тигран пожертвовал своим носовым платком.

— Он сбежал? — спросил Гарик.

— Да, — ответили Ваге и Тигран хором.

— Я сильно пострадал?

— Жить будешь, — ответил Ваге, прикладывая к носу Гарика платок.

— Пошли отсюда, — сказал Гарик и с помощью друзей встал на ноги.

Они пошли к Лебединому озеру. Там было не так многолюдно, и они прикончили свои бутылки.

— А не пойти ли нам к нашим девочкам и детишкам? — спросил после этого Гарик.

— Пойдем. Делать-то нечего, — сказал Ваге. — Правда, детей у меня нет. Мы все еще не можем забеременеть.

— А что по этому поводу думает наш Тигранио?

— Я — за, — кивнул Тигран Гаспарян.

Они пошли обратно домой к Тиграну. И Гарик Тиграну на ухо сказал:

— Жизнь — сучка, правда?

— Молчи, Гарик-джан. Ради бога, молчи!

— Серая, серая жизнь! — вздохнул тот.

Серая, серая жизнь! Вокруг не было других красок. Была сплошная серость. Потому что январь. Потому что зима... *Ужасное* время года.

Люди ходили злые, не верующие ни в кого и ни во что. А ведь совсем недавно, еще пару лет назад, все верили и надеялись. Учреждения в Ереване не работали, потому что там не топили; стояли заводы, потому что не было электричества. В каждой квартире имелись железные печки. Каждая семья топила чем попало: старой обувью, тряпками, книгами... Лучше всего горела резина, но от нее было много едкого дыма. А те, у кого были дрова, считались богачами. Магазины были пусты, хлеб продавали по талонам (250 граммов на душу).

Казалось, ереванцы жили по инерции. Старики, не выдерживая холодных зим, умирали. Гробы стоили очень дорого, и не всякая семья могла себе позволить гроб. Гробы брали напрокат. Так говорили. Если в семье были старики, родственники молились, чтобы они не умерли, потому что похороны стоили очень дорого, места на кладбище тоже. А денег ни у кого не было. Ходила шутка: «Ради бога, не помри вдруг: денег нет!»

Но ереванцы не смеялись. Очень редко можно было увидеть на улице смеющегося человека. А если кто и смеялся, то наверняка это был псих какой-нибудь. Психов развелось очень много. Часто можно было встретить идущую по улице молодую, очень красивую девушку, говорящую с собой и даже жестикулирующую. Но были и настоящие психи, из психиатрических больниц. Говорили, что неопасных выпустили на волю, потому что больницы не отапливались и кормить психов было нечем. Оставили только буйных и маньяков, хотя люди утверждали, что выпустили всех...

Одного такого настоящего психа каждый день можно было встретить у Оперы. Он имитировал сирену «скорой помощи». У него так похоже получалось, что он этим зарабатывал на жизнь. Люди давали ему деньги, а он выл сиреной...

По вечерам все в Ереване зажигали свечи. Не было электричества. Наверное, Ереван был самым молящимся городом в мире.

Տէր, նորութիւն .

6

Тогда была все еще зима (январь!), Тиграну Гаспаряну позвонил Ваге Саакян и попросил зайти. И Тигран пошел. Ваге по-прежнему жил с родителями своей жены на Проспекте.

— Как хорошо, что ты пришел,— сказал он, помогая Тиграну снять пальто. У него были голубые глаза, длинные волосы, усы, борода, и он очень был похож то ли на рок-певца, то ли на Иисуса Христа.

— Что-нибудь случилось? — спросил его Тигран.

— Нет. Да. То есть ничего особенного.

— Где Тагуи?

— С родителями поехала к родственникам. Проходи, садись.

Они вошли в комнату, и Тигран сел в кресло рядом с железной печкой. Она издавала утробные звуки и излучала тепло.

Тигран закурил.

— Знаешь, почему я тебя позвал? — спросил Ваге.

— Откуда мне знать?

— Ну так слушай. Я написал рассказ.

— Только и всего?

— Да. А этого мало?

— Нет. Извини.

— Сейчас я прочту, а ты скажешь, что ты об этом думаешь.

Ваге Саакян стал читать. Нервничая. Волнуясь, запинаясь, сбиваясь, теряя строчки и дыхание. Печка по-прежнему гудела, и еще был слышен ход настенных часов... Когда Ваге закончил читать, Тигран сказал:

— Да.

— Что «да»? Ты скажи лучше: что ты об этом думаешь?

— Хорошо написано. Как всегда.

— По-твоему, кто-то это напечатает?

— Не знаю.

— Почему?

— Сейчас вообще ничего не печатают. Ты сам это знаешь. Время такое.

— А что мне делать? Мне нужны деньги.

— Этим денег не заработаешь.

Ваге сел напротив и посмотрел прямо в глаза Тиграну, который думал о том, как ему стало неловко, когда Ваге прочел свой рассказ.

— Откуда у вас дрова? — спросил он, показывая на печку.

— Это не дрова,— ответил Ваге.— Сухие ветки. Каждое утро мы с Тагуи ходим в ближайший сквер и собираем сухие ветки. Знаешь, на нас так смотрят!

— Теперь многие собирают.

Ваге продолжал:

— Сегодня нам особенно повезло. Какой-то подонок срубил ночью дерево, ствол унес, а ветки оставил, некоторые с мою руку толщиной. Знаешь, было так много веток, что нам с Тагуи пришлось сделать три рейса. Я все время боялся, что подумают, будто это я срубил дерево. Два раза, когда мы возвращались, санки переворачивались, а на третий раз я посадил Тагуи на ветки. Она смеялась и говорила, что упадет и это будет моя вина, но санки уже не переворачивались. А потом, когда я дома на кухне пилил эти самые ветки, Тагуи сидела рядом на табурете и плакала... Знаешь, утром звонила сестра. Говорила, что муж ее надумал переехать в Москву. Что тут невозможно больше жить. Непонятно: это начало великого исхода? Все уезжают... А сыну ее уже одиннадцать. И что он видел? Что увидит? Что запомнит? Что все уезжают?

— Как зовут ее сына? — поинтересовался Тигран. Скорее из вежливости. Он просто не помнил, как звали племянника Ваге Саакяна. И поэтому спросил.

— Липарит. Его зовут Липарит... Вот такое армянское имя. Помнишь? Был такой полководец в Армянском царстве Киликии — Липарит*. Так говоришь, рассказ не напечатают?

— Негде, понимаешь? Нет сейчас журналов. Да и слишком мрачно...

— А я не могу писать весело, когда все плохо!

— Не кричи...

Ваге помолчал, опять стало тихо и слышно, как гудит печка и тикают часы.

Ваге был самым серьезным из друзей и всегда худым, как скелет (а в тот день, когда Тигран к нему пришел, он казался и вовсе прозрачным), а потом, когда отрастил волосы и бороду, стал похож на Христа. Раньше Ваге очень упрямялся. Теперь перестал.

Вернулась Тагуи, одна, без родителей. Сказала, что ей надоело там, у родственников, и она решила вернуться домой.

— И хорошо сделала, — заметил Ваге. — Нечего слушать «охи» и «вздохи» стариков.

— Я подумала точно так же. — И Тагуи поцеловала Ваге.

У нее, как у ее мужа, были голубые-голубые глаза, но волосы у Тагуи были огненно-рыжими. Тигран называл ее «кусочком солнца», и Ваге нравилось, когда он ее так называл.

Тагуи заварила чай, и они пили его там же, в большой комнате, где стояла печка. Ваге и Тигран стали вспоминать годы, когда они были еще «молоды», свои «золотые, лучшие годы», говорили о том, что теперь уже постарели (нам уже по 36 лет!) ...

— Фи! — вдруг сказала Тагуи и встала. — Вы ничем не отличаетесь от мамы и папы: те же старики. Даже противно! — И вдруг перешла на крик: — Да, старики! Скучно с вами. Почему вы не веселитесь? Вы же пока еще совсем мальчишки! Конечно, мальчишки! А стонете, как старики! Я хочу веселиться. И часто танцую! Смотри, Тигран, как я танцую!

Тагуи стала кружиться по комнате в каком-то бешеном вальсе, время от времени задирая юбку и делая неприличные движения.

Когда стемнело, Ваге зажег свечу (не было света).

— Сам сделал, — сказал он о свечах. Ему было очень неловко. И Тиграну тоже было неловко. Он не хотел видеть то, что увидел. Он не хотел слушать рассказ Ваге. Теперь, вспомнив рассказ, он уже был уверен в своей догадке: Тагуи помешалась. Прямо Зельда какая-то! Он подумал, что хуже всего то, что и Ваге знает это, иначе он бы не написал такой рассказ.

Тигран Гаспарян долго еще бродил потом по темным улицам Еревана, прежде чем пошел к себе домой.

Падал снег. Он падал так тихо! Зима подходила к концу. И никто не знал, когда же закончится Эпоха Страшных Зим.

7

Потом наступила *настоящая* весна, потом лето, потом опять, как всегда, наступила осень. И осень 1993-го очень долго не кончалась.

В тот день с утра было холодно, но к вечеру немного потеплело.

— Как дела? — спросил Тигран, пожимая руку толстому Гарику.

— Так себе, — ответил тот, и они пошли вниз по проспекту Баграмяна к Опере.

* Последний полководец (спарпет) Киликийского Армянского царства (1080–1375), погибший вследствие набегов египетских мамлюков, покончивших с царством в 1375 году.

Наверное, пойдет снег, подумал Гарик, не слушая болтовню друга. Хорошо бы, если бы пошел снег. Ведь с начала этого года еще снега не было, а он был бы очень кстати; хотя бы все вокруг стало белым, а то сейчас — серо и грязно... Погода была действительно мерзкой, и от этой самой погоды становилось тошно на душе. Мокрые улицы, мокрые дома, мокрые деревья — все мокро и липко. Несмотря на то что стоял уже декабрь, погода была осенняя. Люди даже останавливались на мгновение и удивлялись: «Почему все еще осень?» Но это была уже не «больная, прекрасная осень» Аполлинера. Теперь она умерла, и от нее веяло отвратительным запахом истлевшего трупа. Грязные автомобили ездил вверх и вниз по улице, действуя на нервы шуршанием колес по мокрому асфальту, и это напоминало о том, что действительно что-то умерло, но все еще дает о себе знать. На улице не было многолюдно, но те, кто вышли, были хмуры и, как все остальное вокруг, серы и мокры. Подняв воротники пальто и плащей и ёжась от холода, они спешили по своим делам, низко опустив головы.

Постепенно темнело, и вскоре стало совсем темно. Тигран и Гарик шли к площади Оперы, с 1991 года — площади Свободы. До 1920 года на месте нынешнего здания Театра оперы и балета был парк, где стояла церковь Гетсемена — самое старое место паломничества в Ереване. Потом это место было просто площадью Оперы, а после того как в 88-м она стала ареной митингов, площадь снова превратилась в место паломничества. В последние месяцы там всегда, и днем и ночью, было полно народу, а в эти дни — особенно. Каждые полчаса Общенациональное движение сообщало о положении в Карабахе и на границах. Люди на площади стояли и слушали, несмотря на холод. Когда подошли Тигран и Гарик, как раз начали сообщать, сколько человек убито в ходе последних боев. Тогда-то и пошел снег. Тигран сказал: слава богу, что пошел снег, и какая-то пожилая женщина попросила его помолчать. Потом она объяснила: у нее там, на войне, сын, и она хочет услышать все, что говорят. Гарик подумал, что ее сына, наверное, убили, потом удивился своей уверенности.

— Вы получаете от него письма? Он звонит?

— Нет,— ответила пожилая женщина и достала из сумочки платок, чтобы вытереть слезы.

Значит, ее сына точно убили, снова подумал Гарик, Аствац им, почему я так уверен?

Они еще немного постояли и ушли. Народ все стоял и не собирался расходиться. Они шли молча. Снег усилился и — слава богу! — не таял. Планета замерзла, подумал Гарик и усмехнулся этой мысли.

— Когда нам дадут оружие? — спросил он.

— Завтра утром,— неожиданно весело ответил Тигран.

— А когда нас отправят туда?

— Утром и отправят,— еще веселее ответил тот.

Гарик вздохнул.

— Что, не хочется? — съязвил Тигран.

— Хочется,— солгал Гарик. Ему не хотелось. Да и Тиграну тоже, наверное, не хотелось: у Тиграна была Аэлита, у Гарика — Марго.

Они снова помолчали. В Ереване фонари горели через один (тогда еще через один). И не было ощущения, что город торжественно провожает своих героев на смерть. Хотя... Какого...

Все было липко, мокро, несмотря на снег, который немного приглушал шорох автомобильных колес.

Они продолжали идти молча, прислушиваясь, как приятно хрустит под ногами свежевывающий снег: снег был новый и чистый.

— Может, зайдем куда-нибудь? Не вечно же мы будем идти,— сказал наконец Тигран.

— Куда?

— Не знаю.

Они остановились. Оттого что остановились, стало вдруг очень тихо. Казалось, было слышно, как падает снег, и еще стало вдруг очень тепло. Гарик подумал: уже четыре дня как положение в Карабахе и на границах ухудшилось, он не виделся и не говорил с Марго, и ему очень захотелось к ней.

— Пошли к нам,— сказал он Тиграну.— Вернее, в дом великого Манояна. Ты же знаешь, мы переехали к ним, в четырехкомнатный «дворец» классика! Так легче и дешевле жить — одним домом, понимаешь?

— Пошли.

— Ты можешь даже сбежать к Аэлите, вместе с ней приехать к Марго, мы вчетвером проведем этот вечер и, может, ночь. Последняя ночь все-таки.

— Ты гений, Гарик! А как же папаша-классик с августейшей супругой Гретой Георгиевной?

— Уехали. В Цахкадзор. В Дом писателей. Там, говорят, рай. Хотя, скорее всего, там тоже не топят. Мэрико с собой забрали.

Они попрощались, договорившись встретиться в квартире писателя Ара Манояна. Оставшись один, Гарик подумал о том, как он скажет Марго, что завтра утром уезжает.

Он позвонил три раза (значит, свет был), и Марго открыла ему дверь. Он всегда звонил три раза, и она догадывалась, что это он. Марго обняла его. Гарик очень приятно пах свежим, новым снегом. Он поцеловал ее, вошел и, закрыв за собой дверь, стал снимать пальто. Он ничего не сказал, поднял ее на руки и понес в комнату. Там он сел на диван и положил ее к себе на колени.

— Маргочка, аревс*, ты только не волнуйся, хорошо? — Он опять поцеловал ее.— Я записался в ополчение.— Он стиснул сильными руками худые плечи Марго.— Не я один: все записывались, и Тигран тоже записался.

Она хотела было заплакать, но взяла себя в руки и спросила:

— А как же дочь? Тебе не будет совестно, если Мэрико в одиннадцать лет останется без отца? Ты об этом подумал? Ты вообще думал?! Уф... Аэлита знает?

— Не знаю. Кстати, они сейчас будут здесь.

— Кто?

— Тигран и Аэлита.

— Почему же ты молчишь? Я сейчас что-нибудь приготовлю.— Она хотела пойти на кухню, но остановилась на полпути, задумалась и тихо, осторожно спросила: — А... когда вы едете? — Она стояла в дверях и была прекрасна: высокая, тонкая, изящная, черноволосая.

— Завтра утром...

Марго ничего не ответила, только прошла молча по комнате, села на диван, посидела минуту напряженно, не шевелясь, потом уткнулась лицом в спинку дивана и тихо заплакала.

Гарик сказал:

— Что же ты плачешь раньше времени, глупенькая? Меня же еще не убили.

Марго резко вскочила и убежала на кухню. Гарик хотел было пойти за ней, но тут позвонили в дверь, и он пошел открывать. На пороге стояли Тигран и Аэлита, все в снегу, румяные и, как всегда, веселые, остроумные, язвительные. Они зашли не сразу, а по своему обыкновению стали дурачиться.

— Марго, скажи этим идиотам, чтоб они уже вошли, а то мы всю квартиру

* Солнце мое (арм.).

выстудим! — закричал Гарик. Марго тут же прибежала из кухни. Тигран и Аэлита подурчились еще немного и вошли. Аэлита отправилась на кухню помогать Марго, а Тигран с Гариком остались в комнате и закурили. Гарик открыл карту.

— Куда нас отправят? — спросил он шепотом.

— Вот сюда.— Тигран показал место на карте.— В самое пекло, где нас обязательно убьют.

Помолчали. Потом Гарик совсем тихо спросил:

— Слушай, а ты Аэлите уже сказал, что мы завтра?..

— Нет. Я позвоню ей по телефону уже оттуда.

— Ее хватит удар.

— Ну нет! — засмеялся Тигран.— Она не такая, как твоя Марго. Аэлита у меня из железобетона.

— А Марго уже все знает.

— Да? И что?

— О чем это вы тут секретничаете? — спросила Аэлита, внезапно оказавшись за их спинами. Они не услышали, как она вошла в комнату.

Гарик закрыл карту. Тигран сказал:

— Ни о чем. Просто так.— Он улыбнулся и поцеловал Аэлиту в лоб.

— Кушать подано, господа! Прошу к столу,— сказала Марго.

— А выпить есть что? — спросил Гарик.

— Обязательно.— Марго сделала вид, что улыбается.— Папе на прошлой неделе из Дзорка привезли туовку. Четыре бутылки! Так что выше голову, солдаты...— Марго осеклась.— Боже, какая я идиотка...— пробормотала она.

— Что это вы встали? Давайте же сядем за стол, а то уже поздно,— сказала Аэлита, которая уже сидела за столом и непонимающе смотрела на друзей.

Марго, Гарик и Тигран присоединились к ней. На часах пробило двенадцать, и Аэлита пожалела, что это не новогодняя ночь.

— Так хочется пораньше встретить Новый год! — сказала она.

— И надеяться, что новый год будет счастливее старого, не так ли? — добавил Гарик и залпом осушил свою рюмку.

Тигран и Гарик решили в эту ночь не киснуть, не говорить о войне и быть веселыми, но ничего не получалось. Аэлита и Марго выпили за здоровье Гарика и Тиграна. Ну что ж, подумал Гарик, пусть так. Но, судя по всему, ваших мужчин самое позднее послезавтра убьют. Потом провозгласили еще несколько глупых тостов, потом Гарик сказал:

— А давайте выпьем за то, чтобы мы вернулись,— и улыбнулся.

— Откуда вернулись? — спросила Аэлита.— Вы куда-то уезжаете? И вообще, я не понимаю, почему у вас такое настроение. Вы что, заболели?

Марго посмотрела на Гарика. Она еще ничего не знает, не так ли? — говорил ее взгляд. Гарик выпил еще. Тигран посмотрел на жену.

— Аэлита, помнишь, я тебе говорил, что мы с Гариком собираемся записаться в ополчение? — Он смотрел ей прямо в глаза.

— Да. И что?

— Так вот: мы уезжаем завтра утром...

— Что?!

На улице все так же шел снег, медленный, кажущийся бесконечным снег опускался на продрогшие крыши домов и не таял. По-прежнему грязные авто ездили по улицам города, шурша колесами, но их становилось все меньше и меньше, потому что было уже поздно.

На площади Оперы еще стояли люди, очоленевшие, они слушали сообщения о ситуации в Карабахе и на границах, но народу становилось все меньше, да и новых

сообщений тоже, они все чаще повторялись. Только уточнялось число убитых.

Марго принесла свечи, потому что электричество вырубил. Все четверо сидели молча на диване и смотрели, как от свечей искрятся рюмки и по стенам ползут тени. Марго положила голову на грудь Гарика и отчетливо слышала каждый удар его сердца: оно билось размеренно и спокойно. После того как Тигран сказал все, Аэлита долго плакала, но теперь она уже перестала плакать и удобно устроилась на плече Тиграна, иногда прерывая всеобщее молчание лишь тихим всхлипыванием.

Тигран взял гитару и начал что-то наигрывать. Он не хотел петь, хотя Аэлита и попросила его об этом.

Они сидели на диване и боялись шевельнуться, боялись оторваться друг от друга, боялись, подняв голову, перестать слышать биение сердца того, кто рядом. Их пугала зловещая неопределенность впереди, которая жила, казалось, во всем: в ярко горевших свечах на столе, в тенях, медленно скользящих по стене от фар проезжающих на улице редких автомобилей; в скудной пище, в этой темноте и даже в снегу, который шел, все усиливаясь и усиливаясь...

Потом дали свет; это было неожиданно (как всегда!), и они вздрогнули, но посмотрев друг на друга, улыбнулись. Тигран и Аэлита сообщили, что идут спать, поскольку утром рано вставать, и посоветовали то же самое сделать Гарика и Марго. Маргарита предложила им не ехать домой, тем более что метро закрылось уже давно, а заночевать у них. Они ушли в одну из спален, а Марго и Гарик еще долго сидели на диване, и он ей что-то тихо нашептывал на ушко, а она плакала, кивала, говорила «обязательно, конечно, как ты скажешь...» — и так почти весь остаток ночи.

Утром снег перестал, и было все белым-бело: дома, улицы, деревья. Воздух сделался чистым, и стояла такая тишина, что, казалось, ее невозможно было терпеть.

За завтраком Тигран сказал, что повезет Аэлиту домой, а потом приедет в аэропорт, где они с Гариком и встретятся.

Марго и Гарик опять остались одни.

— А мне спешить некуда, — сказал он, посадив ее к себе на колени. — И некуда тебя везти.

Маргарита хотела сказать что-то очень важное, но тут зазвонил телефон, и она пошла в коридор ответить.

— Алло? Маргош? Это Аэлита! Скажи Гарика, у Тиграна умер отец, сегодня ночью. Он не поедет, слышишь? Скажи Гарика. То есть он обязательно поедет. Но через неделю.

Гарик отправился на сборный пункт, а потом в аэропорт. Там его должен был ждать его школьный друг Арам Назарян (обворожительно-сладко улыбающийся АН), с которым они учились вместе еще в Дзорке. Но Арама не было. Как оказалось потом, АН просто сбежал в Дзорг.

Ровно через неделю Тигран Гаспарян стоял в том же самом аэропорту вместе со всеми и ждал посадки в вертолет. С тех пор, как умер его отец, прошло семь дней, целая неделя. Теперь он остался совсем один. Наконец вертолет прилетел, и они вышли из-под навеса. С ними была почему-то какая-то женщина, которую Тигран заметил еще в здании аэропорта, когда покупал сигареты.

Прежде чем сесть в вертолет, они (те, кто должны были лететь этим рейсом) помогли выгрузить гробы с телами убитых и носилки с ранеными. На каждом гробу были выцарапаны имя, фамилия, год рождения и дата смерти. Когда Тигран вместе с каким-то парнем вытаскивал из вертолета очередной гроб, ему вдруг показалось, что он прочел на крышке имя Гарика, своего однокурсника и давнишнего друга из Дзорка. Тигран похолодел. Потом понял, что ошибся: фамилия другая.

— Это был ваш друг? — спросила пожилая женщина, подходя к Тиграну.

Тигран вздрогнул.

— Нет. Слава богу, нет.

— Это хорошо. Поздравляю вас. А я каждый день приезжаю сюда встречать сына. Мне разрешили... — сказала пожилая женщина.

— И что?

— Слава богу, его среди этих нет.

Разгрузка окончилась, и Тигран, надев рюкзак и перекинув через плечо автомат, сел в вертолет. Дверь захлопнулась, и над головами неистово завертелись винты. Незнакомая женщина стояла поодаль от вертолета и махала Тиграну платком. Вертолет тяжело оторвался от земли. Тигран вспомнил, что ту пожилую женщину они с Гариком видели неделю назад у Оперы; она слушала сводку последних новостей с «фронта». И еще Тигран подумал о том, что вот уже семь дней от Гарика нет никаких известий.

Ни у кого в Ереване не было вообще никаких сведений. Люди знали только то немного, что сообщали на площади Свободы у Оперы.

В Ереване не знали. В Ереване долго почти никто ничего не знал.

Տէր, յղորմեա՛ւ. Տէր, յղորմեա՛ւ. Տէր, յղորմեա՛ւ.

8

Была комната. В ней кресла, диван. На стене — старые часы. Большой стол стоял под часами, маленький — перед диваном. Только что был выпит кофе, потушена сигарета. Работает телевизор. Чах Гарик тупо переключал каналы, не останавливаясь ни на одном. В комнату то и дело входила дочка, уже тринадцатилетняя Мэрико. Смотрела на него. Уходила.

Гарик пытался улыбнуться ей, но не мог, не умел улыбнуться. Снова курил, продолжая переключать каналы. Побриться, что ли? — промелькнуло в голове, но он решил отложить этот ненужный ритуал на завтра.

В комнату снова вошла Мэрико.

— Посмотри, какой у меня браслет, — сказала она. Кажется, хотела сказать еще что-то, но не сказала. Запнулась.

— Откуда браслет? Мама купила? — спросил Гарик.

— Нет. Дядя... Мамин знакомый.

Вернулся мыслями в ночь — жаркую, душную. Вспомнил, что пошел дождь. Вспомнил извивающиеся движения жены, но никак не смог вспомнить самого себя. Жену помнил, себя — нет. Помнил лишь, что все получилось неожиданно быстро и что жена потом сама дошла до конца, но на это ему было плевать. Помнил ее порывистое дыхание и возню рядом под одеялом. Свои чувства при этом не помнил.

— Папа. А мы сегодня пойдем гулять? — спросила Мэри.— Хочу с тобой погулять.

— Посмотрим.

Мэрико уединилась с книжкой в соседней комнате. Гарик не вздохнул. Только закурил новую сигарету. Снова стал переключать каналы. Услышал, что на улице опять пошел дождь.

В комнату вошла мама.

— Ты не побреешься? Сегодня у нас гости.

— Нет.

— Но как же можно таким небритым ходить? Ты ведь побреешься, правда?

— Нет.

Мама ушла. «Глупая, — подумал он. — Как будто бриться или не бриться — самый важный вопрос на свете».

Теперь Гарик вздохнул, но не закурил. Приглушил звук телевизора: так лучше слышался шум дождя. «Как плохо было, когда там, в горах, шел дождь!» —

неожиданно подумал он, но невероятным усилием воли удержался от того, чтобы нырнуть в *бездну воспоминаний*.

В комнату вошла Марго.

— Если твоя мать хоть на две минуты отойдет от плиты, я приготовлю завтрак. Она что, не понимает, что мне нужно приготовить завтрак?!

— Кто сегодня к нам придет в гости? — спросил Гарик, удивляясь своему голосу: отдаленному, чужому, постороннему, мертвому.

Маргарита ответила:

— Какие-то ваши родственники. Хотят поздравить тебя с возвращением.

— Но я ведь уже неделю как вернулся.

— Это твои родственники. Некоторые приехали из Дзорка. Тебе лучше знать. Ты скажешь своей маме, чтоб позволила приготовить завтрак?

— Нет.

Гарик закурил. Сделал громче звук телевизора, активнее стал переключать каналы. Потом закрыл глаза и унесся далеко-далеко, в горы, где все было так просто и ясно. И он уже не слышал ни голоса диктора по телевизору, ни шума дождя за окном. Слышал лишь тишину, ту единственную, неповторимую горную тишину, да редкие потрескивания автомата где-то внизу. Вот только бы не пошел дождь, думал он тогда. Потому что после дождя будет туман, а туман — самое плохое: враг может подкрасться очень близко, и ты его не заметишь. Дождь в тот день так и не пошел, вообще в тот день ничего не произошло, и все, кроме часовых, поужинав, легли спать. Дождь пошел ночью, а прямо перед рассветом, когда никто этого не ждал, склон горы накрыло облаком.

— Нужно сходить за хлебом. Слышишь? Будем завтракать, а хлеба в доме нет.

Гарик открыл глаза, с трудом возвращаясь оттуда, из тишины гор. Перед ним стояла мама, вытиравшая мокрые, красные, уже старческие руки краем передника. Вошла Мэрико.

— Папа, я с тобой!

— Нет.

— Ну, пожалуйста!

Гарик стал переодеваться, дочка быстро накинула куртку и обулась. Они вышли. Был воскресный день, полудожливый, полусонный, тихий, несуетливый. Гарик увидел, как с остановки тронулся автобус, задевая крышей ветки деревьев, как потом осыпались листья. Автобус был большой, толстый, грязный, серо-белый.

— Папа, а мы сядем в автобус?

— Нет.

— Хочу сесть в автобус. Мы никогда не ездили в автобусе.

— Не сегодня.

— А когда?

— Когда-нибудь.

— «Когда-нибудь» это когда?

— Не знаю...

Рука девочки была теплая и крепко, послушно сжимала его руку. Гарик вспомнил, что там, в горах, он все время мечтал о том, чтобы выйти вот так с Мэри на улицу, идти рядом и держать дочкину руку в своей. Теперь мечта осуществилась — и ничего...

У входа в метро «Еритасардакан»^{*} сидела старушка, продавала хлеб. Хлеб был в большой сумке, накрытой целлофаном, на котором блестели капельки дождя.

— Подходите, покупайте свежий хрустящий хлеб. Свежий хлеб... — зывала старушка. — Покупайте хрустящий хлеб!

^{*} «Молодежная» (арм.) — станция ереванского метрополитена.

Гарик с Мэрико подошли.

— Сколько стоит вот этот?

— 100 драм, — ответила старушка. — Очень хороший хлеб, свежий, хрустящий...

— Дайте два.

Гарик отломил от одного большую горбушку и протянул дочери.

— Спасибо, папа.

— На здоровье. Ешь. Он вкусный.

— А когда мы сядем в автобус?

— Завтра, — неожиданно ответил Гарик.

— Завтра — это «когда-нибудь»? — улыбнулась Мэрико.

— Нет. Завтра — это завтра.

— И куда мы поедем?

— Не знаю.

— Давай поедем в Монумент*. Там есть кафе. Мне одноклассница рассказывала.

Ты возьмешь себе кофе, а мне — горячий шоколад. Ну, и пирожное, если деньги будут. Кафе называется «Навак»**.

— Давай.

— На автобусе?

— Да.

— Завтра?

— Да.

Гарик с Мэрико вернулись домой. Он думал о том, что вечером будет полно гостей, и это означало, что можно будет пить без риска нарваться на упреки. Гарик открыл для себя, что водка часто помогает забыться, отогнать нечто, что не поддается объяснению, может быть, пустоту...

Опять вспомнил ночь.

Была темень, хоть глаз выколи. Лишь красный огонек его сигареты то загорался ярче, то снова тускнел. Маргарита слышала, как он с шумом выдыхал дым, и когда огонек вспыхивал, видела лицо его и глаза. Время от времени слышался шум проезжающей машины, свет от фар на несколько секунд освещал спальню, и тогда Марго видела также шею его и грудь, и край одеяла. За окном шел дождь. И ничего не было слышно, кроме дождя.

— Наверное, нам нужно развестись. Я не смогу тебя сделать счастливой, — сказал Гарик, опять затянулся сигаретой и с шумом выпустил дым.

— Нет-нет. Не надо разводиться! Пожалуйста! Не надо!

За окном послышался шорох проезжающей машины; свет фар заскользил по потолку и на мгновение осветил спальню, она снова увидела его шею, грудь и край одеяла. Дождь продолжал идти. Маргарита продолжала плакать...

— Завтра на автобусе поедем в кафе, о котором тебе рассказывала одноклассница, — сказал Гарик Мэрико. Ведь он обещал. Гарик понял, что так иногда бывает: лишь обещание связывает тебя с жизнью. А ведь когда-то — еще там, в горах — он обещал себе по возвращении переехать с семьей в Дзорк. Теперь он и этого не хотел. Ничего не хотел. Несмотря на то, что Ереван опостылел, Гарик так и не решился переехать в древний городок Дзорк, что на юге Армении.

На следующий день ему позвонил друг, Ваге Саакян, и предложил встретиться.

Они пошли в кафе, самое простое кафе со столиками на тротуаре, которые в те времена только-только стали появляться в большом количестве, со снующими

* Парк «Победа», который все ереванцы называют «Монументом». Причиной этого неофициального названия стал памятник Сталину, установленный в парке в 1950 году.

** Лодка (арм.).

туда-сюда официантками в мини-юбках, черных колготках и красных передничках с надписью «Coca-Cola».

— Лучше было б просто сидеть в сквере на скамейке, курить и говорить,— недовольно сказал Гарик и закурил.

— Не ворчи, пожалуйста,— ответил Ваге. Ему было весело и радостно. Радостно от красных передничков официанток и еще оттого, что война *закончилась* и его друг вернулся с войны*. Вот он его и пригласил в кафе...— Мы здесь выпьем кофе и пива.

— Это слишком роскошно, ты не находишь? — спросил Гарик, озираясь по сторонам и разглядывая прохожих.

— Перестань! — сказал Ваге, уже начиная сердиться. — Что ты заладил: «может, не стоит, может, не стоит»? Прекрати! Расслабься.

К столику подошла официантка и достала из кармана передничка синий блокнотик.

— Пожалуйста, два кофе, два пива и соленые палочки.

— И все?

— Пока да. Спасибо.

Официантка ушла, и Ваге посмотрел на друга; тот качал головой.

— Прекрати,— повторил Ваге и собирался закурить, но реакция Гарика оказалась по меньшей мере странной. Он с грохотом опрокинул стул, вскочил и закричал:

— Подонки! Подонки! Скоты! Ведь там идет война! А вы здесь... Соленые палочки! Кто-нибудь из вас знает, что там умирают? Скоты! Скоты!

И пошел по улице. Ваге расплатился с официанткой, извинился и побежал догонять друга. «Ты просто озлобился,— хотел он сказать ему.— Война тебя озлобила».

Но, догнав Гарика, ничего не сказал. «А может, он не так уж и неправ?» — подумал он.

Писатель Ваге Саакян тогда, в 1995 году, еще не знал, что жена его, рыжеволосая, голубоглазая Тагуи, «ареви ктор», беременна. Наконец-то! И уж тем более не знал он тогда, что мальчик его — сын-король! — родится с дефектом скелета и что, хоть с головой у него все будет в порядке, он никогда в жизни не сможет ходить.

Гарик же со своей дочкой Мэри так и не поехал на карусели (ни в зоопарк, ни в Ботанический сад, ни в цирк, ни куда-нибудь еще), не поехал на следующий день и никогда больше.

Несмотря на то что Ереван ему опостылел, Гарик так и не решился переехать жить в свой родной Дзорк, откуда он был родом.

9

Дзорк — очень древний город, упоминается он аж с V века. В 2001 году население его составляло 45711 человек, что на 25711 человек больше, чем в XI веке, например, когда Дзорк являлся столицей удельного царства в составе государства Багратидов. Несмотря на такой демографический «взрыв», в Дзорке в основном все друг друга знали в лицо, и если покопаться поглубже, все являлись друг другу родственниками, в той или иной степени.

Всегда, во все времена, Дзорк представлял собой замкнутый мир, размеренная жизнь которого была оторвана от жизни столичной, и поэтому мало что могло

* 9 мая 1994 года полномочный представитель президента России в Нагорном Карабахе Владимир Казимиров подготовил «Соглашение о бессрочном прекращении огня», которое вступило в силу 12 мая 1994 года. Но по сути война, хоть и перешедшая в неактивную фазу, продолжается до сих пор.

поколебать стабильную вязкость бытия его жителей. Дзоркцы испокон веков были ленивы, медлительны, в начале же нулевых — почти все безработны. Мужчины были не прочь выпить, женщины — не прочь налить. И ничто никогда не менялось здесь по большому счету. Скажем, если вы обнаружили, что старик Сероб не сидит целый день под большим платаном на скамейке автобусной остановки у моста, то это ни в коем случае не могло означать, что он нашел дело поважнее и поинтереснее, — скорее всего дед Сероб просто-напросто умер. А значит, при встрече с бабушкой Розой, его женой (вдовой!), обязательно нужно поинтересоваться, когда панихида (чтоб всем сообщить), а еще важнее — когда поминки. Любой житель Дзорка жил по принципу: «На похоронах ты можешь и не быть, но на поминках быть обязан».

В советское время Дзорк был промышленным городком — тут работали всякие заводы и фабрики, которые просто прекратили свое существование после обретения Арменией независимости: они были разобраны до последнего винтика. Ну, а потом была война, и Дзорк подвергся обстрелам из «градов» со стороны государства, в шутку, но метко названного достопочтенной Армине Адибекян Соседистаном. Тогда очень многие уехали в Ереван к родственникам, однако как только обстрелы прекратились, приехали обратно. Как показывает «статистика», дзоркцы трудно приживаются в других местах (особенно в Ереване). А если все же переезжают в столицу, то не упускают случая к месту и не к месту вставлять: «Как же я не люблю Ереван!» В Дзорке, как и везде в Армении, не любят ереванцев, считая их *заносчивыми*.

В городе Дзорк было много всяких достопримечательностей. Помимо здания почты, Дома радио, Драматического театра, памятника герою национально-освободительного движения XVIII века и террасоподобных высоток, лесенкой приклеенных к окружающим город холмам, в городе достопримечательностью считались и многочисленные мосты через реки Ган и Чаги, платановые аллеи и, конечно же, церковь сурб* Мариам. Она была основана в VII веке, затем перезаложена в 1450 году, однако знаменитое землетрясение 1679 года разрушило ее, и пришлось строить заново. По преданию, в фундаменте церкви, сохранившемся с VII века, под плитой, покоятся мощи святого апостола Варфоломея, в ограде же церкви находятся надгробия одного из настоятелей церкви и князя-благотворителя. Церковь Св. Мариам почти не пострадала от обстрелов 90-х (правда, до сих пор на ее восточной стене можно увидеть следы от осколков взорвавшихся неподалеку снарядов), и в 2001 году на деньги миллиардера из Филадельфии, предки которого были уроженцами Дзорка, заменили всю черепичную крышу порталов и купола на лазурного цвета керамику и медные листы, привезенные из Лондона. Так что, можно сказать, прогресс, начиная с нулевых, проделав долгий, изнурительный путь, дошел-таки и до Дзорка. Кое у кого появились персональные компьютеры, пластиковые карточки, даже мобильники. А еще в Дзорке, рядом с церковью Св. Мариам, в подвале одного из жилых домов, в самом конце 2002 года появился интернет-клуб «Марио». «Марио» был единственным местом в Дзорке, где «давали» Интернет (не считая филиалов некоторых ереванских банков, почты и Дома радио), и сюда заходили исключительно мужчины, всё больше по вечерам — сыграть в «косынку», выпить кружку-другую пива, короче говоря, расслабиться после тотального дневного ничегонеделания, которое, как известно, сильно утомляет. Вот в этом интернет-клубе и работал админом Липарит Овсепян.

Давно наступила ночь. По своему обыкновению, Липарит Овсепян сидел за компьютером дома, потом неожиданно вырубил его, натянул штаны, накинул куртку, надел ботинки и вышел из дома — за пивом. Людей на улице совсем не было — два часа ночи! — только проезжали редкие автомашины, тревожно слепя фарами.

* Святой (арм.).

Порывами налетал ветер, оголтело валил снег, и было ощущение бесконечности времени и бесконечности одиночества.

Было и бесконечно темно. Мэр Дзорка обещал, что к зиме все уличные фонари будут гореть, но они пока работали только перед резиденцией марзпета*. Липарит Овсепян перешел одну улицу, свернул на другую, дошел до «трамвайчика» и постучал в окошко. «Трамвайчик» этот представлял из себя по сути будку на колесах, стилизованную под старые трамваи, хоть в Дзорке отродясь не было никаких трамваев. Он работал всю ночь, и здесь можно было купить все, даже стетоскоп. Днем и ночью в «трамвайчике» работал Закар, и только по утрам, до одиннадцати часов — его жена, миниатюрная Анушик, которая работала еще и в Доме радио.

— Привет, Зако, холодное пиво есть?

— Привет, Липарит. Тебе сколько бутылок? Опять не спится? — спросил Зако, откладывая в сторону кроссворд (сканворды появились чуть позже).

— Да, Зако, — ответил Липарит. — Не спится. Сильный ветер... Посчитай мне, пожалуйста, пять бутылок «Киликии». И перестань называть меня Липаритом.

— Как же тебя называть-то? Это твое имя.

— Ну, можно ж покороче... Липо, например.

У Зако были рыжие коротко стриженные волосы, большая голова и маленькое тельце. Когда он сидел в своем «трамвайчике», казался очень большим, но стоило ему выйти, чтоб достать тебе из холодильника бутылку пива, как сразу превращался в карлика, и Липариту каждый раз было неприятно это изменение.

Зако положил пять бутылок «Киликии» в целлофановый пакет и вернулся на место.

— Дай еще пачку сигарет и соленые палочки.

— *Ваши* решил не спать?

— Посмотрим. — Липарит расплатился и пожелал Зако спокойной ночи «без происшествий». Дело в том, что пару месяцев назад двое пьяных водителей из мэрии в четыре часа утра избили Зако за то, что он отказался отпустить им бесплатно бутылку водки. Дело, конечно же, замяли.

— Постой, Липо. Тут одно слово... — остановил друга Зако, взял в руки кроссворд, карандаш и зачитал: — «Глубоководное приспособление», восемь букв.

— БАТИСКАФ?

— Верно, — заулыбался Зако. — Мерси.

— Чаржи**, гиганто!

Липарит ушел. Он был уверен, что Зако не обиделся на слово «гиганто». Зако знал, что ничего плохого Липарит не имел в виду.

Ветер усилился, снег пошел неистовее, и Липарит, не слыша, как звенят бутылки в целлофановом пакете с логотипом мясокомбината, не работавшего, кстати, с 90-х годов, спустился к себе домой. Дома он положил четыре бутылки в холодильник, пятую же откупорил и вместе с сигаретами взял с собой в комнату. Он сел за свой Pentium II, стыренный из интернет-клуба «Марио», где он работал админом, и нажал на кнопку. Машина сразу же начала просыпаться, гудеть, и в груди стало сладко покалывать от предвкушения новой радости, называемой ICQ. ICQ — это чудо безличных знакомств. Это — гибель. Это — спасение. Величайшее изобретение рода человеческого! Кому какое дело, кто ты? Кому какое дело, как ты выглядишь? В этом виртуальном мире ты был безличен, за тебя говорил лишь твой никнейм. Это потом, к концу десятилетия, виртуальное (слово «виртуальный» тоже в начале нулевых не было еще распространено) пространство станет опасным, поскольку начнет индивидуализироваться и персонифицироваться. А пока ты просто говорил

* Губернатора (арм.).

** Не стоит (арм.).

с людьми, завязывал знакомства, и прелесть этих знакомств заключалась в том, что они ни к чему не обязывали и ни к чему не вели. Ты не знал, с кем на самом деле говоришь, и тебя не знали, но говорили с тобой, и Липариту нравилась такая игра. Ему нравились правила тогдашнего виртуального мира. Окружавший же его мир, РЕАЛЬНЫЙ, казался ему слишком грубым и поэтому скучным, он был слишком *реален*. Общение в ICQ было зыбким туманом, где все основано на знаках, намеках, недомолвках и даже загадках.

Машина загрузилась, Липарит нажал на цветочную кнопку ICQ и в мгновение ока из Липарита Овсепяна превратился в безличного Asso* (по названию одноименного фильма с Адриано Челентано в главной, конечно же, роли). Он открыл окошко «поиска» и, не отмечая ни страну, ни возраст, а только пол (female), нажал на «search». Сразу же в «результате» вывалилось несчетное количество безличных female-ов, обозначенных зеленым цветком, то есть готовых к общению. Липариту было даже лень просматривать их профили, и он написал первой же попавшейся — просто обратил внимание на никнейм LiLith.

Asso: привет.

LiLith: привет. Ты кто?

Липарит сделал глоток пива, закурил и решил пока что продолжить с этой самой LiLith.

Asso: меня зовут Asso, — написал он, и сразу же в ответ услышал: «Ку-ку!»

LiLith: я это вижу.

Asso: а что ты хочешь еще?

LiLith: твое настоящее имя.

Asso: зачем? Я просто «человек разумный».

LiLith: откуда же ты такой разумный?)))

Asso: из Дзорка. Знаешь такой город?

LiLith: вот угораздило! Я тоже оттуда.

Asso: совпадение...

LiLith: а у тебя тоже за окном идет снег?

Asso: да.

LiLith: люблю снег!

Asso: я тоже. Но когда долго идет снег, мне кажется, что я умер.

LiLith: зачем же так пессимистично? Что ты делаешь кроме того, что сидишь в ICQ?

Asso: в данный момент пью пиво, грызу соленые палочки, курю.

LiLith: у меня тоже в холодильнике есть бутылка пива. Сейчас принесу!

И Липарит стал ждать, пока LiLith притащит свою бутылку и они наконец начнут «серьезный» разговор.

«Ку-ку!»

LiLith: я вернулась. Теперь у меня тоже есть пиво. Правда, сигарет нет ((.

Asso: на, возьми.

LiLith: спасибо. Прикурила J)))

Asso: молодец. Ты очень красивая, когда куришь!

LiLith: мне нравится такая игра, Asso. Как будто мы видим друг друга. Жаль только, что сигарета ненастоящая. Кто ты? Чем занимаешься?

Asso: неважно. Все это неважно. А ты действительно красивая, когда куришь.

LiLith: откуда ты знаешь? Может, я уродина))))))

Asso: не похоже. Во всяком случае, мне так больше нравится думать.

LiLith: ты меня почти что убедил. Давай играть еще.

Asso: согласен. Пива еще хочешь?

* Туз (*utal*).

LiLith: валяй.

Asso: ты всегда пьешь пиво из горла?

LiLith: откуда ты знаешь?!))))))

Asso: вижу!)

LiLith: что же ты видишь еще? J

Asso: что ты голая, в одних трусиках.

LiLith: о-о-о-о! Я сейчас оденусь!

Asso: можешь не торопиться. Я ведь на самом деле не вижу тебя.

LiLith: а хотелось бы?

Asso: я боюсь, что ты все же уродина.

LiLith: Хам!))) Я сейчас вышлю фотографию — увидишь, какая я.

Asso: ок.

Липарит допил первую бутылку и пошел за холоденьким в кухню. Вернулся — опять за комп. Открыл фото LiLith — оно уже пришло на электронную почту. (Господи, как же это удобно! Ведь так легче жить!) LiLith оказалась красавицей. На фото она сидела на диване, вероятно, у себя дома, в джинсах и свитере, у нее была короткая стрижка а ля Деми Мур в «Призраке» и чуть вздернутый, «не армянский» носик. Липарит рассматривал ее фото, потом услышал нетерпеливое «Ку-ку!»

LiLith: ну, как?

Asso: супер!

LiLith: а тебя можно увидеть?

Asso: не имею ни одной фотографии с изображением собственной физиономии.

LiLith: жаль J)))

Asso: хотелось бы увидеть, какая ты сейчас.

LiLith: у меня нет цифровой камеры.

Asso: жаль. А знаешь, говорят, когда-нибудь появятся такие телефоны, с помощью которых можно будет не только звонить и писать эсэмэски, но и фотографировать и писать в ICQ.

LiLith: это вряд ли. Представляешь, какие батарейки нужны будут к этим телефонам?! Ну, или через пятьдесят лет, может быть... Скажи, я тебе понравилась?

Asso: есть такое. И ты смелая. Не всякий пошлет свое фото, да еще в первый день знакомства.

LiLith: а чего тянуть? К тому же я не из пугливых. И на дворе третье тысячелетие. Ну, и что из того, если ты меня однажды узнаешь на улице? Я этого не боюсь. И потом: все ведь хотят одного в конечном итоге... Кстати, ты замечал, что ICQ возбуждает? В нем есть что-то от вседозволенности. Тут можно не прятаться, раскрыть свои самые запретные тайны. Интернет — это свобода. Может, когда-нибудь он станет тюрьмой и будет опасен. Но теперь он — свобода. Свои тайны чужому человеку легче открыть, чем знакомому, близкому, не так ли?

Asso: согласен. Ты молодец. Как тебя зовут на самом деле?

LiLith: Лилит.

Asso: очень смешно!

LiLith: это правда, клянусь! А тебя?

Asso: Липарит.

LiLith:))))))))))

Asso: что ты ухмыляешься? Очень распространенное армянское имя (у других национальностей этого имени я не встречал). Непонятно, правда, его происхождение. Говорят, это устаревшее название горной породы *риолит*, от названия итальянских островов Lipari, где эту породу впервые обнаружили. Но какое отношение армяне имеют к этим островам или к этой породе, неизвестно. А еще Липаритом звали последнего полководца Армянской Киликии.

LiLith: смеюсь)))

Asso: еще бы! *Asso* ведь звучит лучше, чем Липарит. Чем ты занимаешься, Лилит?

LiLith: я студентка в Брюсове*. Мне двадцать один. Не замужем. Приехала на каникулы в Дзорк (тут у мамы квартира) и жду, когда предки тоже приедут. Мы каждую зиму приезжаем в Дзорк. Вот как раз скоро они должны приехать из Еревана.

Asso: а ты знаешь, что дороги закрыты из-за снегопада? В новостях говорили. Твои родители доедут максимум до Веревунка.

LiLith: не знала. Посмотрим. Поговорю с ними утром. Ну, а ты? Чем занимаешься ты, о мой Риолит?

Asso: не издевайся, пожалуйста)). Можно же просто сказать «Липо». Так вот: мне двадцать один год, как и тебе, я на последнем курсе Горного института (не ржать!). Вернее, уже нет. Меня отчислили. За неуспеваемость и хулиганство (меня, представляешь?!). Я уже три месяца как приехал в Дзорк жить. Живу в бывшей квартире дедушки и бабушки (они умерли, летом еще, друг за другом). Работаю администратором в интернет-клубе «Марио». Весной призывают в армию.

LiLith: ясно...

Asso: а ты где живешь?

LiLith: в девятиэтажках — знаешь? — у фонтанов. Рядом с почтой. Подыхаю от тоски, балуюсь ICQ, мечтаю о сигарете.

Asso: а я — недалеко от Церкви. Знаешь, о чем я подумал? Приходи ко мне J))))

LiLith: размечтался!)))))) Нет... уже поздно. Может, завтра, если предки все же не приедут... в смысле, уже сегодня, получается...

Asso: а сейчас?

LiLith: сейчас пойду спать. Ты завтра работаешь?

Asso: да. У нас режим — через сутки. Завтра работаю днем.

LiLith: завтра ты вернешься с работы, мы поговорим, выпьем виртуального пива, покурим виртуальных сигарет и я приду. Послушай, а ты не женат?))

Asso: Че**, Лилит. Не женат я!

LiLith: пока. Целую... спокночь))))))

Asso: целую, как ты говоришь.

LiLith:))))))))))

Лилит ушла, ее «цветочек» сделался красным, и Липарит тоже вышел оффлайн, сразу же перестав быть *Asso*. Он еще раз посмотрел на фотографию Лилит и пошел спать. У него болели глаза, голова была тяжелой от пива и сигарет. Было тихо, очень тихо, но заснуть ему не удавалось еще очень долго: все время казалось, что он слышит, как за окном идет снег.

На следующий день он с нетерпением ждал конца работы, когда вернется домой, засядет за комп и включит ICQ. Наверное, это все же болезнь, думал он, выпивая сто пятую чашку кофе — хозяин интернет-клуба каждую неделю привозил Липариту и его напарнику банку NESCAFE и полкило сахарного песка. Ведь по сути его ничто не интересовало, кроме ICQ. Ни этот интернет-клуб, ни его клиенты. Вся внешняя жизнь протекала мимо, и ему это даже нравилось. Он наблюдал за ней со стороны. Все равно в марте призуют в армию, и тогда жизнь изменится и никогда больше не будет прежней. Так кто виноват в его равнодушии? ICQ? ICQ — это гибель? Впрочем, наверное, в будущем и не то придумают.

* Ереванский государственный университет языков и социальных наук имени В.Я.Брюсова.

** Нет (*арм.*).

Явился напарник, Липарит ушел домой, поел, стал ждать, когда звездочка «LiLith» в ICQ станет зеленой, и задремал. День никак не хотел отпускать его в ночь, а Липарит очень ждал эту ночь, ведь тогда он превращался из равнодушного, да и никому не нужного Липарита Овсепяна в Asso. Вообще человек, как правило, никому не нужен. И всегда одинок. Более или менее *неодиноким* Липо чувствовал себя именно ночью, когда сотни тысяч таких же, как и он, липаритов, закончив дела, усаживались за свои компьютеры. Его *неодиночество* было в безличных знакомствах и знакомых. Значит, ICQ — это спасение.

Было уже восемь вечера, когда он проснулся и, бросив взгляд на монитор (LiLith все еще не пришла, и Липарит подумал: «Продинамила?»), напялил куртку и вышел из дома. Ветер по-прежнему осыпал город снегом, и на улицах людей уже почти не было. Весь день жители Дзорка покупали нужные-ненужные товары. Многие боялись, что скоро начнут вырубать электричество, как в 90-х...

— Привет, Зако.

— Бари ереко*, Липо-джан. Погода, да?

— Ну! Дай-ка мне, пожалуйста, шесть бутылок пива, соленые палочки и две пачки сигарет.

— А больше ничего не хочешь?

— Чего?

— Ну, продуктов разных, свечек, сухого спирта, мыла, туалетной бумаги. Если ажиотаж из-за этой погоды продлится еще пару дней, я разбогатею!

— Зачем мне? Не хочу, ахпер**-джан.

Зако отложил в сторону неизменный кроссворд. Ведь есть же люди, которые помешаны на кроссвордах. Закар был одним из них. Впрочем, думал Липарит, каждый на чем-то да помешан. Нужно на чем-нибудь быть помешанным, чтоб не помешаться всерьез.

Закар вышел из «трамвайчика», превратившись в карлика, каковым и был на самом деле, достал из холодильника пиво и вернулся на место, ругая снег. Липарит расплатился.

— Липо. Ай, Липо...

— Чего тебе, Зако?

— «Жена морского бога Посейдона», девять букв.

— АМФИТРИТА.

— Точно! — Закар с улыбкой вписал имя супруги греческого бога в клетки, и Липо ушел. Вернулся домой. Через мосты, по подворотням... Как только откупорил первую бутылку пива, из компьютерных динамиков раздалось веселенькое: «Ку-ку!»

LiLith: вот она я, Asso! Я даже соскучилась, так много думала о тебе J)).

Asso: я тоже. Полночи и одного дня оказалось достаточно, чтоб я почувствовал себя влюбленным.

LiLith: и какая я по счету? Скольким ты сегодня уже говорил это?

Asso: ты — первая!

LiLith: все равно не верю J)). Что ты делаешь? Я пыталась поймать тебя с четырех до пяти.

Asso: я был на работе до шести. Как тебе безумие наших сограждан? Психи, правда? Я пью пиво, курю и вообще-то жду тебя.

LiLith: я сама псих, Липо-джан. Я буквально только что вернулась домой (даже сапожки еще не сняла). Бегала по магазинам, стояла в очередях, спорила с продавщицами. Как и все ненормальные, купила десять кусков мыла и восемь рулонов туалетной бумаги. Это после того как не нашла тебя в ICQ...

* Добрый вечер (*арм.*).

** Брат (*арм.*).

Asso: J Надо же, чтоб так угораздило — познакомиться с самой хозяйственной девушкой на свете!

LiLith: я не такая уж и хозяйственная, просто попадаешь в поток и начинаешь делать так, как остальные. Очень похоже на конвейер.

Asso: я ошибся. Ты не хозяйственная. Ты философичная))).

LiLith: ты угадал. Есть немного.

Asso: как я понимаю, родителей ты не встретила?

LiLith: опять угадал. Они застряли в дороге (а я ведь предупреждала их не выезжать из Еревана). Тикин и парон* Карапетяны переночуют в единственной гостинице Веревунка.

Asso: постой. Твоя фамилия Карапетян?

LiLith: да, а что?

Asso: а фамилия Овсепян тебе ничего не говорит?

LiLith: смутно... ой! У отца, кажется, был такой врач в Кардиологическом центре, говорят, прекрасный хирург. Он вместе с моим папаней... Аствац им!

Asso: да, они учились на одном курсе мед'а.

LiLith: значит, ты действительно Липарит?

Asso: вот именно. Тот самый. И я с тобой играл на лужайке перед вашей дачей в Кармрашене, когда наши приходили к вашим в гости.

LiLith: Липо! Так ведь не бывает! Какое совпадение!

Asso: как видишь, бывает. Ты разочарована?

LiLith: нет, ты что! Теперь я еще больше хочу тебя увидеть. В моей памяти ты остался худеньким мальчишкой в коротких штанах, размахивающим игрушечной саблей.

Asso: мама и папа погибли два года назад. Машина перевернулась. Недалеко от Воротанской ГЭС... Я немного изменился, знаешь ли, особенно в вопросе коротких штанишек.

LiLith: о, спасибо, утешил! так где мы встретимся?

Asso: у Церкви. Она на полпути между нашими домами.

LiLith: тогда я уже сейчас выхожу. Аствац им! Опять в снег!

Asso: а как я тебя узнаю, Лило-джан?

LiLith: ты тормоз, Липо-джан. Я ж тебе фото выслала ночью!

Asso: да, я тормоз. А ты меня? Ведь я буду не в коротких штанах.

LiLith: даже без шортиков узнаю. К тому же не думаю, что у Церкви будет много народу. В церковь люди приходят только на свадьбы и похороны.

Asso: тогда до встречи?

LiLith: до встречи, Липо-джан)))

Забыв запереть дверь, Липарит Овсепян выбежал из квартиры и направился в сторону церкви сурб Мариам. Снег с ветром все никак не хотели уgomониться, и только редкие автомашины швыряли в лицо тревожные и какие-то дикие лучи своих фар. Они встретились. И Липарит понял, что Лилит взяла с собой из дома все, что было съестного.

— Это мой вклад в общий котел,— сказала она, и они обнялись.

У Лилит были черные волосы, которые упрямо курчавились, темно-карие огромные глаза и полные губы. Она была невысокого роста, но при ее походке это не сразу бросалось в глаза — она ходила величаво, не спеша, в ней были какая-то особая утонченность и особый аристократизм.

Вот так — неожиданно, по сути случайно, они и встретились. Он ведь мог написать кому угодно. Но написал именно ей.

Տէր, րկրբիւն՝ ...

*Госпожа и господин (арм.).

10

Настроение у всех в городе было какое-то непонятное. Люди не паниковали, хотя и не знали, чего ожидать, и даже не хотели знать. Снегопад, Циклон мало что изменили в сознании граждан маленького городка Дзорг. Все явно расценивали Циклон как некую неприятность, странный сон, о котором все быстренько забудут, как только проснутся. Циклон этот должен был многое изменить, наверное, разбудить, всколыхнуть, потрясти, как чайники на дне стакана: взболтаешь — и они всплывут. Но в Дзорке ничто не «колыхалось». Просто шел снег, и Липарит Овсепян надеялся, что не останется без сигарет, пива и электричества. Последнее было особенно важно, ведь компьютер без электричества не мог работать. Без электричества очень многое не могло работать в древнем городке Дзорг.

Первое, что спросила Лилит, когда проснулась утром (вернее, в полдень, уже три дня она жила у Липарита):

— Зачем тебе ICQ, если я рядом с тобой?

Липарит не знал, что ответить. Действительно: зачем? Ведь Лилит была рядом. Голая, лежала в постели и ждала его. Но так и заснула, не дождавшись.

— Не знаешь? Зато я знаю. Ты болен.

— Я догадывался об этом.

— И что? Всю ночь клеил девочек в Сети? Как меня три дня назад?

Он с удивлением посмотрел на нее: и правда — только три дня прошло, а кажется, они всю жизнь были вместе. Лилит продолжала:

— Хочешь сказать, я тебе надоела?

— О, нет! Ты не можешь надоест.

— Это почему же?

— Подойди к зеркалу, поймешь.

Голая Лилит встала с кровати, подошла к большому зеркалу-трюмо и расхохоталась:

— Ну, тут, пожалуй, я с тобой соглашусь. Такое не скоро надоест.

Липарит смотрел на Лилит, на ее отражение в зеркале и думал о том, что снег все равно когда-нибудь прекратится и Лилит уедет в Ереван, а он пойдет служить в армию. Тогда почему они встретились? Зачем она вообще появилась? Ведь на самом деле он ее из детства плохо помнил. А она вот помнит, как оказалось. Наверное, так бывает в жизни: мы не помним тех, кто помнит нас, и наоборот.

— Ты бы оделась. Холодно. С утра уже два раза вырубали свет. Комната не прогрелась.

— О-о! Аствац им! Началось-таки! Возвращаются девяностые?

Липарит подумал, что ни он, ни Лилит не могут знать, каково в действительности было в девяностые годы — им тогда было по одиннадцать лет, и они, конечно же, не осознавали до конца ужаса происходящего. В ЭСЗ (Эпоха Страшных Зим — термин, придуманный писателем Ара Манояном) больше досталось их родителям, которым приходилось заботиться о детях, думать, как их накормить, достать то да се... Его совсем недавно осенило, что наверняка мама с папой не ели свои талонные двести пятьдесят граммов хлеба, чтоб больше досталось ему (помнишь желтоватый маргарин, намазанный на хлеб, посыпанный солью?), но он тогда не догадывался об этом. Он только помнил покрасневшие от холодной воды мамины руки и черный силуэт отца, ночи напролет сидевшего у погасшей железной печки в пальто. Отец сутками не мог заснуть и только курил сигареты без фильтра «Астра». Еще Липарит помнил тошнотворный запах керосина и сухого спирта. Он теперь вдруг с особой пронзительностью осознал, что родителям, например, когда наступил девяносто первый год, было всего по тридцать восемь лет! Странное ощущение. Ведь они ему казались очень взрослыми, даже старыми — из-за седеющих волос папы, например.

А на самом деле — вот ведь: всего тридцать восемь. Молодые ж были совсем! И вот теперь понимаешь, что жизнь родителей разделилась на до и после, что они никак не могли приспособиться к новой жизни, будучи уже взрослыми-молодыми: ведь рухнула целая империя с ее размеренной, предсказуемой жизнью, рухнуло их мироощущение, и границы Вселенной сузились до одной комнаты, единственно отапливаемой в квартире. А у детей — наоборот: *пределы* мира со временем все больше стали расширяться (вон — интернет появился).

— А знаешь,— сказала Лилит,— странно, что свет вырубали. Ведь снегом-то занесло не провода электропередач, а дороги. И ГЭС на реке Ган как работала, так и работает. Так в чем же дело? Почему вырубает свет?

— Думаю, на этот вопрос не могли ответить и в девяностые. Ведь у нас есть атомная электростанция.

— Вот-вот. Слушай, так мне одеться? — Лилит все еще разглядывала себя в зеркале.

— Нет.

— Почему?

— Ну, чтоб мне сейчас не пришлось снова тебя раздевать.

— Хам! Покажи лучше, с кем ты познакомился в ICQ за минувшую ночь.

— Зачем?

— Интересно просто. Или ты думаешь, что меня это не должно интересовать?

— Да ради бога! Мне не жалко! — Липарит открыл фотографии. Лилит посмотрела, потом расхохоталась.

— Чего ты?

— Ес кез сирум ем*!

— Что не так?

— Посмотри,— ответила Лилит, все еще смеясь.— Видишь? Они все похожи друг на друга и одновременно похожи на тебя самого! Ты на самом деле *себя* хочешь! Ха-ха! Фрейд назвал бы это нарциссизмом. У меня же тоже, в общем-то, такая же форма глаз, такой же рот, тот же типаж!

— Тоже мне, Фрейд в юбке!

Лилит еще смеялась, когда зазвонил телефон, и Липарит в тапочках и без трусов пошел в прихожую ответить. Говорил долго, минут шесть-семь, потом вернулся в спальню и нырнул в постель. Лилит курила, лежа на животе, и листала болгарские журналы «Наш дом», которыми так вдохновлялось старшее поколение в семидесятых-восьмидесятых годах прошлого столетия и которые в большом количестве Лилит нашла на антресолях в прихожей квартиры, где когда-то жили бабушка и дедушка Липарита.

— Звонил дядя Ваге,— сказал Липарит.— Из Еревана. С поручением. Ты знаешь писателя Ваге Саакяна? Так вот, он мой дядя, брат мамы. Дал поручение. В такой снег! Здесь есть деревня Паг, знаешь ли...

— Конечно, знаю! Я провела там все детство.

— Тогда ты, вероятно, знаешь крепость Пагаберд? Мне велено «сходить» в Пагаберд, где уже третий месяц живет старый Ара Маноян, проведать его, узнать, все ли в порядке, не нужно ли ему чего-нибудь. Дядя узнал, что Дзоркский район скоро исчезнет под снегом. Вот он и беспокоится о старом писателе. Хоть бы поинтересовался при этом, как поживает любимый племянник!

— Интересно, я думала, Ара Маноян давно умер. А он вот в Пагаберде... Ну? Что ты хнычешь? — сказала Лилит.— Давай одеваться. Совершим поход в Пагаберд! Встали раз, встали два, встали три!

* Я тебя люблю (арм.)

— И откуда у тебя столько энергии?! — сказал он, вылезая из постели и снова думая о том, как же так случилось, что они с Лилит оказались вместе.

Когда наконец они вышли из дома, снег опять усилился. Лилит и Липарит пересекли по мосту реку Чаги и, пройдя мимо церкви сурб Мариам, подошли к «трамвайчику», чтоб понакупить разных продуктов для Ара Манояна. Карликовый Закар подметал тротуар перед своим «трамвайчиком», но снега напало столько, что пользы от Закарова веника не было никакой.

— Бари ор*, Зако-джан, ты хочешь убрать весь снег в нашем городе?

— Нет, только перед моим *объектом*, для покупателей, — мрачно ответил Закар, с удивлением посмотрев на Липарита и Лилит.

— Может, тебе все же взять лопату, а не веник? Познакомься, это Лилит, — сказал Липарит.

— Очень приятно.

— Что ты невеселый какой-то? Люди не покупают больше свечек и туалетной бумаги?

— Покупают! Еще как! Все и впрямь с ума посходили. Хотя нет. Вру. Никто не сошел с ума. Жители нашего городка никогда не сходят с ума. А туалетную бумагу или сухой спирт покупают автоматически, что ли. Липо-джан, ты хотел что-то купить? — Закар опять внимательно посмотрел на Лилит.

— Мы идем к Ара Манояну, — весело сказала та. — Надо хоть что-то ему отнести. Не с пустыми же руками идти к писателю!

Закар отряхнул снег с брюк, с пальто, с ботинок и вошел в «трамвайчик».

— Так что вам?

— Ты грустный какой-то.

— Да нет. Нормальный.

— И все же? — спросил Липарит, передавая другу написанный вместе с Лилит список продуктов для Ара Манояна. («Мы как муж-жена, — смеялся Липарит, — пишем список покупок!»)

Закар отвечал:

— Понимаешь? Мама вчера мне сказала, что Анушик задерживается допоздна на работе. У себя там, в Доме радио. Понимаешь? — вздохнул Закар.

— Нет. Не понимаю. Ты в чем-то ее подозреваешь?

— Нет. Я не знаю, о чем думать.

— А ты не думай. Твоя пучур-мучур** Ануш тебе верна.

— Да я не об этом. Не знаю. Ну, зачем она задерживается в Доме радио?

— Работает.

— Ее подруга говорит, что она за компьютером сидит долго.

— Зако-джан, ты очень удивишься, если я скажу, что на компьютерах можно не только раскладывать «косынку», но и работать.

— Не знаю...

— Сколько с нас? — Липарит достал кошелек. — Добавь еще пару пачек сигарет и зажигалку.

— Послушай, Липо-джан. А ты научишь меня компьютеру?

— Легко. И не думай о всяких глупостях. Лучше пораньше закрывай сегодня свой *объект* и поспеши домой делать вместе с Анушик маленьких закарчиков.

— Тут еще одно, Липо-джан, — смущенно заулыбался Закар и достал с полки кроссворд и карандаш. — Сын египетского бога Озириса и Изиды, три буквы.

— ГОР, — ответил Липарит механически и даже не пошутил. Закар молча

* Добрый день (*арм.*).

** Маленькая-премаленькая (*арм.*).

вписал буквы в клеточки, а Липо и Лило, попрощавшись, ушли. Снег все шел и шел, и они понимали, что им до Пагаберда идти полтора часа. По глубокому снегу, перебираясь через сугробы.

— Можно тебе вопрос задать? — спросила Лилит.

— Да, конечно!

— Почему у тебя дома так много часов? Четыре на стенах в гостиной, одни рядом с компьютером на письменном столе в спальне, двое над диваном в прихожей...

— И, заметь, все показывают одно и то же время! — гордо сказал Липарит.

— Ну и?

— Я не знаю, Лило-джан. Вот Закар, однажды побывавший у меня, определил это как паранойю и боязнь взросления.

— О! Он психолог?

— Нет. Он продавец и хозяин «трамвайчика», и вовсе не имеет высшего образования. А насчет часов я не знаю... Просто мне необходимо знать точное время. Без этого я не могу жить. Если я знаю, что мои часы отстают или спешат, я начинаю беспокоиться, и это беспокойство постепенно может перерасти в панику. Просто очень боишься однажды выпасть из времени, понимаешь?

— Да, понимаю,— ответила Лилит.— Все это называется СТРАХ.

— Страх чего?

— В точном времени ты ищешь какую-то опору, нечто твердое, хотя искать опору в самом *утекаемом* и непостоянном — во времени — изначально абсурдно, согласишься. Ты ищешь точное, потому что сам колеблешься, как тростник. Все это очень понятно: окружающий мир неустойчив, зыбок, туманен, и оттого человек не уверен в будущем и хочет за что-то зацепиться. Отсюда твои беспорядочные интернетные связи. Еще ты боишься идти в армию... А знаешь, к чему ведет постоянный, все время тебя преследующий страх? К ПОРАБОЩЕНИЮ. Страх — вот что поработает человека. И тогда он боится будущего. И тогда он развешивает по всей квартире часы...

На этих ее словах Липарит неожиданно бросил целлофановые пакеты с продуктами на снег и стал ее обнимать.

— Напомни, где ты учишься?

— В Брюсове,— ответила девушка, смеясь.— Ты меня хочешь задушить!

— Тогда заткнись, философ в юбке!

— Хам ты, Липо-джан! Хам, мужик, чобан*! Вайрени**!

— Эй, посмотри! Видишь? Там, вдали, где река сворачивает влево. Видишь, нет? Вот за тем поворотом уже будет видна деревня Паг. А над ней будет «висеть» холм с крепостью Пагаберд.

— Вижу! Пошли! Еще столько идти!

И они пошли дальше вверх по берегу реки Ган к деревне Паг.

11

— Детство мое действительно проходило в деревне Паг,— сказала почему-то Лилит.— Не то чтобы я все время жила в деревне, просто большую часть года до школы я проводила там, у бабушки. В школу же пошла в Ереване, и бабушка приезжала к нам, чтоб присмотреть за мной,— мама с папой работали тогда без продыху и всегда были заняты,— а потом, на каникулах, мы с бабушкой уезжали в деревню. Сразу же в этом захолустье я оказывалась в центре внимания (приехала из Еревана!), и это меня тяготило, я хотела, чтоб меня оставили в покое. Уже тогда

* Название пастуха овец и другого скота.

** Дикий (*арм.*).

мне было интереснее играть с мальчиками, чем с девочками. Подсознательно я чувствовала в мальчиках нечто более надежное, чем в девочках, готовых расплакаться по любому поводу и даже без повода. Мальчики своей волей (странно звучит это слово по отношению к двенадцатилетним мальчишкам) и силой, которую я инстинктивно чувствовала, казались привлекательнее.

Помню одно лето в деревне. Я уже ходила в школу, и после окончания учебного года бабушка поспешила вывезти меня из Еревана, чтоб я развеялась. Больше половины времени я проводила дома, читая книги (конечно, Вальтер Скотт, Дюма, Стивенсон, Жюль Верн), лежа на железной кровати с пружинами, и время от времени смотрела в окно. Из окна был виден старый полузасохший дуб, которому, как говорила бабушка, было триста лет. Иногда в мое окно стучались деревенские девочки и звали поиграть в свои девичьи игры (они мне надоели, и я еще тогда понимала, что их интересую не я сама, а то обстоятельство, что приехала я из Еревана), но я отказывалась, оставалась дома и читала, читала, читала... Что искала я в книгах? Конечно, убежище от действительности, в которой все было грубо и в которой были мои вечно занятые, вечно работающие родители. Книги были моим спасением, а бабушка, не понимая этого, гнала меня поиграть со сверстницами, от которых я (и я это чувствовала) ушла слишком далеко благодаря книгам. Я до сих пор помню писклявые голоса деревенских девочек под моим окном: «Лило, давай поиграем. Лило, покажи нам свои платя. Лило, расскажи про Ереван...»

Но однажды в окно мое постучались мальчики и пригласили выйти во двор.

— Хотим пойти в берд*. Пойдешь?

Я поняла, что это проверка моей храбрости, и ответила согласием.

Одна из девочек, которая почему-то считала себя моей ближайшей подругой, завзак** Армине ее звали, шепнула мне, что с мальчиками так далеко ходить нельзя и что детям вообще запрещается ходить в Пагаберд, потому что там много змей. Я рассмеялась, сказала, что все это чушь, и сообщила мальчикам, что это не просто крепость, а развалины Старого замка, который принадлежал когда-то старому графу, и что в книге, которую я сейчас читаю, есть описания подобных замков, что там под развалинами должны храниться сундуки с золотом и бриллиантами (сказывалось влияние Вальтера Скотта и Стивенсона). Мальчики сказали: раз я знаю, как выглядят старые замки, то значит, точно должна пойти с ними в качестве эксперта. Я ответила, что было бы глупостью идти в такую экспедицию сейчас (я уже знала это волшебное слово: экспедиция!), что если мы хотим добраться до золота, то должны отправиться туда рано утром, чтоб взрослые (войско старого шерифа) не остановили нас. Мы договорились, что мальчики придут за мной на рассвете, в шесть часов (ни у кого из них не было часов, и я отдала самому старшему из них свои), и мы пойдем к Старому замку. До поздней ночи девочка, которая считала себя моей ближайшей подругой, та самая завзак Армине, убеждала меня не ходить с мальчиками так далеко (а почему, я тогда не понимала; вот и говори теперь, что городские созревают раньше!), и я поняла, что, если я что-нибудь не придумаю, она нас всех сдаст войску старого шерифа (то есть взрослым; самим же старым шерифом была моя бабушка). Я достала из чемоданчика курточку, подарила своей подруге и взяла с нее слово, что она о нашем походе ничего не расскажет взрослым (впоследствии это стало традицией: в каждый свой приезд в деревню я одаривала шмотками местных девиц, которые были от этого на седьмом небе; бабушка же каждый раз ругалась, говорила, что мне самой скоро нечего будет надеть).

До самого утра я не смогла заснуть: мысль о Старом замке не давала покоя, и я уже была полностью готова к походу, когда ровно в шесть часов деревенские

* Крепость (арм.).

** Болтушка (арм.).

мальчики постучались в мое окно. Взяв свой маленький рюкзачок, я, стараясь не разбудить бабушку, вышла во двор. Оглядев меня с ног до головы, самый старший из мальчишек одобрил то обстоятельство, что я надела брюки, потому что в них будет легче лазать по стенам, и я почувствовала себя очень счастливой из-за такой оценки: никто из девочек в деревне, не говоря уже о взрослых девушках и тетях, брюк тогда не носил. Мы отправились в путь, и вскоре оказалось, что он будет нелегким и небезопасным — так пишут, кажется, в приключенческих книжках. Сначала нас чуть было не засек оруженосец короля, иначе говоря, пастух, перегонявший коров на дальние пастбища, и нам пришлось идти по дну оврага, где грязь доходила до колена. Потом нас чуть было не увидели привезенные из далеких стран рабы — пассажиры рейсового автобуса Дзорк — Джаранк. Очень скоро я устала, и мои верные мальчики по очереди несли мой рюкзак. Наверное, это было смешное зрелище: тринадцатилетняя девочка в белой панамке, идущая впереди небольшого отряда деревенских мальчишек, одетых, как оборванцы. Я была в чем-то похожа на Жанну д'Арк на пути к Орлеану. Тебе интересно? Мне продолжать?

— Конечно,— сказал Липарит.— Мне очень интересно!

— Так вот. В крепости Пагаберд, которая никогда не была Старым замком старого графа, мы пробыли до самой ночи, осматривая каждую щель, переворачивая все камни. Мы очень проголодались, но я сказала, что нужно переночевать здесь и утром возобновить поиски, если мы хотим найти сокровища. Мальчики не были против, мы разожгли костер, чтобы, как я сказала, хищники не напали на нас, и легли спать. Я разделила ночь на равные интервалы и назначила часовых, которые каждые два часа должны были сменять друг друга, и, думая о том, откуда бы завтра раздобыть еду, заснула. А потом нас нашли. Оказалось, нас искали долго, в деревне поднялся страшный переполох, особенно безумствовала моя бабушка, и когда дело дошло до милиции, завзак Армине, считавшая себя моей ближайшей подругой и которой так понравилась моя курточка, рассказала, что я повела мальчиков в Пагаберд: всегда найдется Иуда, который покажет, где находится Гефсиманский сад. Бабушка говорила, что я не способна на такое (о, как она ошибалась!), что наверняка противные мальчики затащили меня туда силой, во всяком случае, после долгих препирательств вся деревня отправилась на руины старой крепости. Когда меня разбудили, первое что я сказала, это:

— Татик*, мы не нашли золото, наверное, проклятые мавры разграбили замок до нас.

В ответ бабушка в первый и последний раз за всю мою жизнь дала мне пощечину, и я расплакалась.

После похода к руинам Пагаберда все мальчики деревни поголовно влюбились в меня и втайне друг от друга писали мне любовные письма. Их мне доставляла та самая девочка, которая считала себя моей верной подругой и которая пыталась загладить свое предательство. Помню, как я читала письма, потом брала красную ручку, исправляла грамматические ошибки и отправляла письма обратно воздыхателю. Нечто стервозное во всем этом было, конечно, но тем самым я давала понять деревенским оборванцам, что они не чета мне, что судьбой мне уготован принц, странствующий на белом коне (дура, но мне было всего тринадцать лет!), что он обязательно приедет за мной и мы отправимся в его дворец...

Потом я уже регулярно на каждые каникулы вместе с бабушкой приезжала в деревню. Все эти годы у меня слились в один. Из этих лет я помню только самую малость: например то, что с каждым годом дуб, который был виден из моего окна, все больше засыхал, и мне бывало каждый год грустно замечать это. Помню также, как я собирала вокруг себя детей по всей деревне и читала им книжки. Помню еще одного

* Бабушка (арм.).

деревенского парня (настоящий ковбой!), который жил в доме напротив, влюбился в меня и на всю мощь включал ужасную музыку, от которой я впадала в истерику, а он думал, что доставляет мне величайшее удовольствие (это уже когда мне было лет пятнадцать-шестнадцать и я начинала понимать толк в музыке). И все. Больше ничего не помню. Это были странные годы, прожитые в абсолютном одиночестве. Я росла, не изучая окружающий меня мир, а в большей степени изучая себя, то есть говоря точнее, я росла невширь, а вглубь. Что ты смеешься? В процессе углубления в самое себя мне помогали книги, которые были одновременно и спасением, и в то же время погубителью, поскольку вскоре я и вовсе потеряла связь с внешним миром. И вот однажды я открыла глаза и увидела мою первую любовь, это случилось, когда мне было шестнадцать лет. Но случилось уже в Ереване, и следующие шесть месяцев — совсем другой период в моей жизни. Я тебе надоела? — спросила Лилит.

— Нет-нет. Ты очень хорошо рассказываешь, — ответил Липарит, — продолжай, пожалуйста.

— Мерси.

— Пойми! Твои фобии — это мои мании. Понимаешь? Вот поэтому я тебе рассказываю. Итак, однажды я открыла глаза и увидела мою первую любовь... Может, все же назвать это влюбленностью? Нет! Пожалуй, пусть будет ЛЮБОВЬ! Его звали Айк. Он был смугловат, у него был большой нос с горбинкой, похожий на нос Марка Красса или Юлия Цезаря, и, появившись в моей жизни, он натворил там бог знает что! Я возвращалась из школы домой (школу я ненавидела и ходила туда только ради мамы с папой и бабушки), а Айк вдруг предстал перед моим подъездом, преградив мне путь, и произнес:

— Давай немного погуляем. Я проверял: твоей бабушки нет дома, так что она не будет волноваться, если ты немного опоздаешь домой.

У Айка были удивительные глаза; взгляд его проникал внутрь, наполняя душу теплом (бархатные глазки, как я потом окрестила их). Я все это доммыслила, конечно, потом, но именно его глаза были виноваты в том, что я не пошла домой, а пошла с ним. Мне вдруг показалось — я это почувствовала, а не осознала! — что я могу пойти за ним куда угодно. Мы отправились в ближайший парк и сели на скамейку. Он сказал, что давно ходит за мной, хочет познакомиться, что, по его мнению, я не такая, как остальные девушки (это сразу меня подкупило: наконец-то кто-то понял, что я не такая как все!), и что он в меня влюблен и хочет быть со мной. Потом пошел дождь, и мы промокли до нитки, но не пошли домой, а остались в парке, на скамейке и целовались. Айк удивительно хорошо целовался, я же целовалась впервые в жизни и училась у него.

Когда я вернулась домой, бабушки еще не было, мама же с папой, как всегда, были в командировке. Я надела свой розовый халатик (аствац им, зачем я все это помню?) и легла, думая о том, что я наконец-то счастлива! Наконец-то пришел конец моему одиночеству, наконец-то нашелся тот, кто любит меня такой, какая я есть, и кому можно все рассказать, кто все поймет. Вскоре позвонила бабушка и сказала, что из-за ливня застряла у подруги (я тогда не понимала, как это у семидесятишестилетней старушки могут быть подруги!), что уже собирается домой, и спросила, поела ли я?

— Да, конечно, бабуль, — ответила я, хотя это было ложью: поестя я как раз-таки и забыла. (Какая же я была дура! Не надо было так сразу влюбляться!)

С Айком мы стали встречаться каждый день. Он меня провожал в школу, а после школы мы гуляли вместе, прежде чем разойтись по домам, а потом висели на телефоне, потому что нам все время хотелось говорить друг с другом. При благоприятных условиях (отсутствие дома моей бабушки или его родителей, особенно его противной сестры) мы ходили домой друг к другу и играли в мужа и жену (между нами не было

секса). Я готовила ему поесть, он что-то чинил (удивленный возглас бабушки: «Ты починила выключатель? Ах, ты должна была родиться мальчиком!», но я еще не была готова рассказать бабушке об Айке). Потом, как это водится у шестнадцатилетних подростков, мы решили пожениться. Мы были очень разумными и вполне разумно (сейчас это смешно) решили сначала поступить в вуз, получить высшее образование, потом уже пожениться. Он найдет работу, и мы поженемся, говорил Айк, а я думала: какой серьезный, практичный, соглашалась со всем, что он говорил, и принималась заполнять пробелы в образовании Айка, потому что он за всю свою жизнь прочитал только одну книгу, и это был «Затерянный мир» Конан Дойля. Я, кстати, видела эту книгу, всю потрепанную. На внутренней стороне обложки карандашом Айк написал: «Моя самая любимая книга. Обещаю всегда ее перечитывать!» Видимо, он слишком часто перечитывал эту книгу, потому что ничего другого к окончанию школы так и не прочел. Я же читала ему вслух, причем и прозу, и стихи. Я была счастлива, я любила и была любима и думала: как же мне повезло с первого раза (Айк был моей первой, и я тогда не сомневалась, что последней любовью!). Никогда не забуду наши бесконечные прогулки-путешествия по городу: парки, скамейки, музеи, театры, булочные, кафе, «нашу» чайную... Пусть Айк мало читает, думала я, но ведь человек ценен не тем, сколько книг он прочел, зато он верный, надежный, на него можно положиться, и самое главное — он меня любит (о любви я знала только то, что вычитала в книгах). Липо-джан, это была безумная-безумная любовь, и, как всегда, когда ты чувствуешь себя особенно счастливой, случается беда...

— Тебя нужно познакомить с моим дядей. Ты не пробовала писать рассказы?

— Не издевайся, пожалуйста. Дослушай. Итак. Было бы нечестно сказать, что в нашем дуэте учился только Айк, училась и я, вернее, очень много работала над собой, чтобы быть достойной его. Он был из богатой семьи, вокруг него витала аура утонченности, воспитанности, и я понимала, что я не такая, как они: дикарка, выросшая в деревне, мои родители были простыми врачами. Он учился в престижной чеховской школе, жил в центре, у него была особая жестикуляция, манера говорить, одеваться (с некоторой небрежностью, но в то же время с особой изысканностью), и я стала все это перенимать. Подобные изменения не могли пройти незамеченными моей бабушкой, и однажды кто-то из нашего двора сообщил ей истинную причину моей метаморфозы: что я уже несколько месяцев дружу с сыном такого-то (с особой важностью называлась фамилия отца моего Айка) и что изменилась потому, что мне хочется соответствовать той семье. Это настолько взбесило мою бабушку, что она схватила трубку и позвонила матери Айка. Мне до сих пор хочется умереть, когда я вспоминаю разговор бабушки с матерью Айка. Я стояла рядом, оцепенев от ужаса, смутно чувствуя, что рушится мое счастье, не в силах ни убежать, ни оборвать провод телефона, ни закричать! Особенно обидными были ее слова: «Моя внучка никогда не будет похожей на такую распутницу, как вы!» Я понимала: бабушка имеет в виду то обстоятельство, что мама Айка вышла замуж во второй раз!

Так все и кончилось, я умерла, и пусть кто-то посмеет сказать, что смерть такой не бывает. Я потеряла свою любовь, потеряла навсегда, и дело было не в том, что бабушка, которая всю жизнь желала мне добра, но часто делала больно, запретила мне встречаться с Айком (я бы, понятно, ее не послушалась). Дело было в том, что, узнав об этом разговоре, сам Айк, мой Айк, решил мстить мне. Первое, что он сделал, это однажды, когда я возвращалась домой из школы, подошел ко мне и в присутствии своих друзей дал пощечину. Потом он поступил еще подлее: повсюду распустил слух, будто я переспала с ним и будто умею вытворять всякие штучки в постели. Я не могла вернуться домой без сопровождения целой оравы мальчишек из младших классов, которые кричали мне вслед грязные слова. Так продолжалось почти целый год, я хотела покончить жизнь самоубийством и не

сделала этого только потому, что пожалела родителей и бабушку, которая убила мою любовь. Это было страшное время, и мне некому было все рассказать, попросить помощи; приходилось все нести в себе и терпеть. Я даже удивляюсь, как смогла при всем этом поступить в университет. Но когда поступила, все дерьмо само собой отстало от меня. Грустная история получилась, но это все правда!

— Послушай, да ты плачешь!

— Нет, это снежинки попадают в глаза! Я не плачу! Давно уже! Расскажи лучше, что тебе больше всего запомнилось из детства? Есть у тебя история?

— Нет,— ответил Липарит.— Истории нет. Из детства помню только, что в середине девяностых немного поработал помощником продавца в аптеке папиного друга — ну, понимаешь: сбегай туда, принеси это.

— О-о-о! Ты в детстве работал? Какой ты молодец!

— Ну да! На меня оформили чью-то зарплату, даже, вернее, на имя отца. И знаешь, что я делал? Когда оставался один, булавкой прокалывал презервативы. Прямо через коробку.

— Какой же ты урод, Липо-джан! Зачем ты это делал?

— Не знаю... Вредный я был в детстве.

— Интересно, сколько детей своим появлением на свет обязаны твоей булавке?

— Да уж, интересный вопрос. Ты устала? Нам осталось взобраться на холм.

— Смотри! — воскликнула Лилит. — Тропинка расчищена от снега!

И тогда Липарит увидел далеко наверху, там, где начинались руины древней крепости, старика и прыгающего вокруг него пса.

— Вон он! Видишь? С лопатой в руке. Это — Ара Маноян...

И Лилит рассмеялась, сказав, что сегодня они встречаются уже второго человека, вышедшего один на один против снега.

— Первым был твой друг Зако. Как ты думаешь, Ануш, его жена, изменяет ему?

— Не знаю... Но он ревнует ее. Правда, еще не знает к кому.

— Один персидский поэт написал,— сказала Лилит: — «Луна всегда ревнует Землю к Солнцу».

Липарит Овсебян и Лилит Карапетян стали подниматься по расчищенной от снега тропинке на вершину холма Пагаберд и, приветствуя старого писателя, который стоял, хмуро опершись о ручку лопаты, кричали:

— Варпет! Варпет! Собаку держи! Нас Ваге послал к тебе! Саакян! Варпет, варпет!..

12

Деревня Паг^{**} находится недалеко от Дзорка, по дороге в Джаранк, в том месте, где река Гирах впадает в реку Ган, а на вершине неприступного скалистого холма, возвышающегося над деревней, на высоте двухсот метров расположилась крепость Пагаберд, точнее, ее руины. Чаще всего крепость датируется III — IV веками. Историк Степанос Орбемян^{***}, например, считал, что она уже существовала в 350-м году и использовалась Аршаком II в войне против иранского царя царей Шапура. С 1103 года, после разрушения Дзорка, Пагаберд стала столицей Дзоркского царства и пала лишь в 1170-м. Сокровища крепости были разграблены сельджуками, более десяти тысяч древних рукописей уничтожено, и это событие считается датой

* Мастер (арм.).

** Холодный (арм.).

*** Степанос Орбемян (около 1250—1304) — армянский историк, церковный и политический деятель.

падения всего Дзоркского царства. После этого крепость не была восстановлена, руины же ее сохранились до наших дней. По ним можно с уверенностью сказать, что Пагаберд имела двойную крепостную стену с башнями-бойницами, кстати, одну из них можно видеть и в наши дни, и туда, начиная с десятых годов двадцать первого века, будут водить туристические группы. Довольно-таки мощный родник с ледяной водой (отсюда и название деревни и крепости — «Паг»), который теперь выходит непосредственно к берегу реки Ган, согласно местным преданиям, когда-то был направлен внутрь крепости, и это было тем более кстати, что во время набегов сасанидов, арабов, сельджуков крепость Пагаберд становилась пристанищем для населения окрестных деревень.

В единственной уцелевшей башне старой крепости и поселился в конце 2002 года старый писатель Ара Маноян, через десять дней после того как умер Грант*. Ара Маноян прожил в этой башне-крепости на вершине холма до самой своей смерти, наступившей его в 2007-м, в совершенном одиночестве, если не считать собаки по кличке Джеко. Он, конечно, тосковал по тем, кого когда-то очень любил и кому сам же запретил приезжать сюда, в эту крепость-тюрьму, где он прятался от всего света. Однажды Грета Георгиевна, его жена — она всю жизнь работала сотрудником, а потом и директором одного из известнейших музеев Еревана и была, что называется, настоящим трудоголиком «старой формации» — в одном из писем («Аствац им, откуда у нее эта дурацкая привычка писать письма?!») заявила, что он, Ара Маноян — дезертир. И Ара Маноян ответил: «Но я разве перестал писать? Если б я перестал писать, вот тогда ты бы могла назвать меня дезертиром. Вон Сэлинджер — тот был настоящим дезертиром!»

И с тех пор его оставили в покое. Что до Греты Георгиевны, то она тоже смирилась с добровольным изгнанием мужа и регулярно посылала ему письма и деньги через водителя маршрутки Ереван — Дзорок, которого звали Лерник. Только однажды к нему приехала дочь, Маргарита. Взяла и приехала, и ничего... Посидели, поговорили немного. И она, дочь то есть, сообщила, что хочет выйти замуж во второй раз: Гарик, бывший уже теперь муж, уведомил, что отныне никогда не вернется в Армению, поскольку нашел в Москве женщину своей мечты. Ара Маноян ничего не ответил на это, отнесся к известию весьма и весьма равнодушно, только спросил, как дела у Мэрико, внучки. Маргарита в тот же день уехала обратно в Ереван, а через неделю старый Ара Маноян получил письмо от Греты (ну, не может она без писем!), в котором было лишь одно слово: «Хоз**!»

Короче говоря, Ара Маноян был абсолютно одинок и видел людей лишь в месяц раз, когда ходил (пешком!) через деревню Паг в Дзорок за кое-какими покупками. Целый месяц он общался исключительно с Джеко, с которым уже привык подолгу беседовать, убедив себя, что тот все понимает. Может, Джеко и понимал многое, только в последнее время на самой середине «беседы» бедный пес все чаще закрывал глаза и засыпал.

Джеко (так почему-то в Армении обращаются ко всем собакам, кличек которых не знают) был собакой умной и воспитанной, однажды словно ниоткуда появившейся на руинах крепости Пагаберд. Это был пес неопределенной породы, очень красивой светло-коричневой масти и с серыми ободками вокруг глаз. Он был очень старым (старше своего новообретенного хозяина по собачьему «летоисчислению») и, становясь с годами все ленивее и ленивее, не каждый раз лаял, когда где-нибудь поблизости раздавался шум или кричала какая-нибудь птица. Джеко, недовольный тем обстоятельством, что его потревожили, лишь наострял уши и бурчал себе

* Грант Матевосян — выдающийся армянский писатель (1935–2002).

** Свинья (арм.).

что-то под нос. Может, это была не лень, а просто та разновидность мудрости, которая приходит лишь со старостью.

Собака больше всего обожала котлеты и пирожные. Во всем остальном это был обыкновенный пес, каких великое множество: умный, воспитанный, преданный хозяину. Хозяин же каждый раз покупал ему мясо для котлет и пирожное (а себе — консервы).

Ара Маноян готовил для себя и для Джеко сам, на железной печке. Покупал в деревне немного сыра, лука, картошки, яйца, сухой лаваш (в таком сухом виде лаваш можно хранить вечно), потом сам же по старинному деревенскому обычаю размачивал лаваш — зачерпывал ладонью воду и обрызгивал пергаментные листы, накрывая их марлей и тканью, и тогда хлеб становился мягким, податливым, эластичным, и в него можно было уже завернуть кусок сыра, четвертинку вареного яйца, лук, картошку, зелень — одним словом, сделать думджак*. Но чаще всего жители деревни Паг сами одаривали писателя продуктами, когда видели его вместе с собакой возвращающимся из очередного похода в Дзорк, и отказывались брать с него деньги. Если же Ара Маноян упорствовал в своем желании заплатить, ему всучивали еще и бутылку «термоядерной» туговой водки.

Откровенно говоря, Ара Маноян ходил в Дзорк только из-за пирожных для Джеко и еще чтоб зайти на автовокзал, где стояли междугородные маршрутки, и, разыскав водителя по имени Лерник, узнать, нет ли писем от Греты. Потому что Лерник отказывался ехать на холм Пагаберда.

— Моя машина *испортится*, Маноян-джан. Я лучше мальчишку пошлю, если письмо будет.

— Не надо мальчишку, — отказывался старый Ара. — Я сам буду *спускаться* в Дзорк. А письма можешь оставить у диспетчера.

— У тети Розы? Так она их потеряет! Лучше мужу отдам ее, Серобу, который вечно сидит на остановке у реки. Надежнее будет.

— Серобу, который вечно пьян? — качал головой Ара Маноян и уходил. Кроме всего прочего, раз в полгода он покупал в Дзорке еще ленту для пишущей машинки, бумагу и авторучки...

Он любил эти походы в Дзорк. Любил сам город. Реки, соединяющиеся друг с другом в центре, бесчисленные мосты, здания, каким-то чудом удерживающиеся на склонах холмов... Но больше всего Ара Манояну в этих походах нравилось ВОЗВРАЩЕНИЕ. Правда! Он любил возвращаться в свою крепость или, может быть, в тюрьму, что стояла на вершине скалистого холма и еще издали, сквозь толщу тумана, который в этих краях случается очень часто, приветствовала его каким-то мрачным и суровым приветствием. К руинам крепости вела крутая каменистая тропа, и по ней, спотыкаясь и задыхаясь, поднимался писатель Ара Маноян после походов в Дзорк. Дорога эта давала ощущение жизни, и каждый раз, идя по ней, Ара Маноян спрашивал себя: с чего он все-таки ушел от всех? Можно было даже сказать, *сбежал*. Он лишь знал, что не перестал писать, а это самое главное. Чего греха таить, долгое время ему не давал покоя выпад Греты: «Ты — дезертир!» Ведь с некоторых пор он и сам засомневался в твердости своей позиции: мол, раз пишу, значит, не дезертир. А со временем он стал понимать и то, что отшельничество оторвало его от жизни людей. Ты ведь не знаешь, что происходит с людьми, как они живут. Для кого же ты пишешь? Для литературоведов, филологов, которые защищают про тебя докторские диссертации («Роль прозы Ара Манояна в армянской литературе второй половины XX века»)? В чем заключается твоя «борьба», которой ты всегда так кичился («писатель должен быть борцом!»)? Что дала любая из твоих книжек

* Бутерброд (арм.).

конкретному человеку? Ничего. Ты — дезертир. Как можно писать для людей и о людях, не зная их жизни?

Տէր, ողորկի՛ւ ...

В этих краях внешние признаки времен года сменяли друг друга с поразительной, почти календарной точностью, и это нравилось Ара Манояну. Ему нравилось подмечать знакомые мелочи в изменениях погоды, это каждый раз было красиво. Время от времени (не чаще одного раза в два месяца) Ара Маноян отдавал дань «термоядерным» дарам жителей деревни Паг, и тогда Джеко приходилось спать в «прихожей» — комнатке, предшествовавшей большой зале в башне, где жил и работал писатель: бедный пес не выносил запаха перегара. На следующее утро после «пьянки» Ара Маноян обычно говорил своей собаке:

— Свинья я, Джеко, Грета права. Самая настоящая свинья. Хоз!

И Джеко лишь укоризненно скулил и беспокойно смотрел на хозяина.

Официальной версией добровольной ссылки было так называемое обнуление. Старик считал, что, поскольку наступили нулевые, закончилась Эпоха Страшных Зим, писателю тоже нужно обнулиться. То есть вернуться к истокам, пожить в природе, обновиться. Но Грета Георгиевна знала, что поводом отшельничества супруга послужила еще и смерть Гранта. С уходом из жизни Матевосяна Ара Маноян так и не смирился (слишком рано, слишком несправедливо!) и *решил* сам уйти тоже — это было нечто вроде «социального самоубийства».

Итак, человек добровольно обрекает себя на одиночество. Человек находит полуразрушенную крепость и решает жить в ней. Там, где есть люди, его уже нет, он там отсутствует, он для них, кажется, умер. И вполне отдает отчет в том, чем это может грозить.

Странно: человек больше страшится умереть (то есть реально покончить жизнь самоубийством), нежели остаться в одиночестве, а значит, почти наверняка сойти с ума. Полному исчезновению, кремешной тьме он предпочитает хоть какое-то существование, хоть какой-то свет, пусть даже замутненный в силу повреждения рассудка. Пусть другой, более сильный, выбирает добровольную смерть. Он, Ара Маноян, не мнит себя сильным. Он предпочитает помутнение рассудка. Когда он сойдет с ума, пусть его убивает голод. Не исключено, что тогда он сможет покончить с собой (тебе семьдесят семь, и так мало осталось, чего спешить?). Но только не теперь, когда он еще способен думать.

Ара Маноян вопреки всему все же мечтал, что когда-нибудь вернется. Ессе Номо*! Человек — тогда человек, когда он еще надеется и боится. Да-да! С некоторых пор он стал бояться. Если человек способен пугаться, значит, он еще не умер? А если ему все время страшно? Значит ли это, что он сошел с ума?

Տէր, ողորկի՛ւ .

Это началось после того, как сдох Джеко. Тогда же Ара Маноян закончил и роман, написав последнее предложение: «А снег шел большими хлопьями, и дул ветер, и казалось, что Зима хочет что-то наверстать, что-то упущенное и потерянное...» Писатель остался теперь совсем один. Не было ни романа, ни собаки. Тогда он начал пугаться своего одиночества. Ему стало мерещиться, что он очень близко слышит вой волков. Ара Маноян знал: если и есть волки поблизости, они никогда не смогут проникнуть в башню-крепость, но все равно: человек уже представил себе однажды холодную мокрую морду, высунутый розовый язык и ослепительно белые зубы, представил очень близко, у самого своего лица, и с тех пор ему было страшно.

* «Се человек» — латинский перевод из Вульгаты греческого выражения, с которым, согласно Евангелию от Иоанна, прокуратор Иудеи Понтий Пилат показал народу Иерусалима после бичевания Иисуса Христа, одетого в багряницу и увенчанного терновым венцом, желая возбудить сострадание толпы.

Ему казалось, что волки его преследуют. Думал о чем-то другом — представлял волчью морду; хотел петь — получался вой; хотел уснуть — кто-то ходил по крыше башни, и снова слышался вой. Протяжный и глухой.

Человек чувствовал, что сходит с ума.

Տէր, պարսկա՛ւ՛ .

Когда идешь сквозь туман, тебе становится страшно оттого, что ты не видишь, куда идешь и откуда шел. Ты оглядываешься, но не видишь своего дома, и тебя охватывает ужас при мысли, что ты уже никогда не сможешь найти дорогу обратно. Страшная тоска сжимает сердце до самой настоящей боли. Одинокая вселенная в одинокой Вселенной. Человек мечется из стороны в сторону, но все время оказывается там, где уже был. И тогда человек подходит к ближайшему, мокрому от дождя и тумана телеграфному столбу и обнимает его. Больше всего он осознает свое одиночество, когда обнимает телеграфный столб. И тогда человек начинает выть подобно дикому зверю, захлебываясь в тоске одиночества. Его голос протяжно разносится по местности, возвращаясь к нему же десятикратно усиленным. Человек пугается своего голоса, на несколько секунд затихает, но потом снова принимается выть еще громче и протяжней. Потом начинается темнота. Человек охрип и способен лишь на тихое мычание. Он чувствует мокрым от слез и дождя лицом ласковые прикосновения тумана и теряет надежду. Затихает. Сидит под столбом и поглаживает мокрую траву... Но вдруг где-то зажигается свет. Человек ясно видит яркий огонь в матовой оболочке тумана. Он издает радостный крик, бежит к свету, спотыкается, падает, обдирая руки до крови, поднимается, снова бежит, плачет и смеется, тяжело дыша. Вот уже различимы контуры *дома*, свет становится все ярче. Человек хочет броситься в дом, но какая-то вспышка ослепляет его, он теряет сознание и падает...

Крики и вой Ара Манояна были слышны по всей округе, но громче всего их слышали в маленьком домике у самого железнодорожного полотна, на окраине деревни Паг. Раньше, в советское время, до Эпохи Страшных Зим, по этой *железке* ходили поезда из Еревана в Дзорк (через Нахичеван) или в Баку. У самой деревни Паг поезда эти и сворачивали (или в Дзорк, или в Баку), потому что здесь находился железнодорожный разъезд. Старый дед Сероб, который жил в этом самом домике на окраине деревни вместе со своей женой Розой, работал всю жизнь стрелочником. Когда развалился Союз и поезда перестали ходить, дед Сероб начал активнее выпивать и постепенно превратился в полное ничто, но это было безразлично бабушке Розе, которая только и думала что о своем сыне Арамике и работала диспетчером на автовокзале в Дзорке. Закончив смену, она забирала деда Сероба, целыми днями сидевшего на скамейке автобусной остановки под большим деревом на берегу реки Чаги, и они вместе возвращались домой, в деревню Паг.

В тот вечер, второго декабря 2007 года, на то что крики и вой старого писателя Ара Манояна внезапно оборвались, обратили внимание именно дед Сероб и бабушка Роза.

— Что-то не так у него, — сказал, попивая чай, дед Сероб.

Бабушка Роза согласилась, и они решили пойти в Пагаберд проведать писателя, взяв каждый по старому фонарику-жучку*, которые остались у них еще с Эпохи Страшных Зим. Тело писателя они нашли в десяти шагах от крепости, на грязной тропинке. Ара Маноян был мертв, и Сероб закрыл его остекленевшие глаза, несмотря на беззубое шипение бабушки Розы:

— Не прикасайся к нему! Не прикасайся!

Удостоверившись, что сердце Ара Манояна не бьется, дед Сероб порылся

* Электродинамический карманный фонарик «Жучок», выпущенный в СССР в конце 80-х. Пользовался особенной популярностью в Армении в «темные» 90-е.

в карманах куртки и брюк писателя, нашел серебряные часы на цепочке (подарок к юбилею от Союза писателей), положил их в свой собственный карман и только тогда сказал жене, что они вдвоем не смогут дотащить старика до деревни.

— Пойдем домой, оттуда позвоним в «скорую».

Так они и поступили. Приехавшая через сорок минут «скорая» официально констатировала остановку сердца у Ара Манояна.

Никто не знает, сколько ударов делает сердце человека за его жизнь. Это невозможно подсчитать. Но там, наверху, куда мы все отправимся после смерти, знали: манояновское сердце остановилось на 3016944925-м ударе.

Տէր, նորրիւնս՛. Տէր, նորրիւնս՛. Տէր, նորրիւնս՛.

Но это случится много позже. Пока же, в те последние январские дни 2003 года, Ара Манояну приходилось целыми днями из-за снега сидеть в своей башне-крепости, которую он нарек Замком.

Снег шел не переставая. День за днем. И от этого весь Дзорский район оказался в снежном плену, в абсолютной изоляции, в полном одиночестве. Но об этом старый Ара Маноян еще не знал и беседовал об одиночестве с Джеко.

— Сароян* был прав, Джеко-джан, человек существо одинокое. Нет? — говорил он своему псу. — При всем том что у него шесть миллиардов братьев, человек все равно остается одиноким. И знаешь почему, Джеко-джан? Потому что он думает, не может не думать. Человек думает всегда, каждую секунду, о чем-нибудь. Если выражаться точнее, человек каждую секунду что-то чувствует, ощущает, видит, осязает, вспоминает, и это приводит к мыслям, картинам, образам, ассоциациям, другим воспоминаниям. Вот невозможность рассказать кому-либо, что ежесекундно происходит у него в голове, и делает человека существом одиноким. Значит, человек одинок всегда. Чем больше людей, кому человек может рассказать о себе, тем менее он одинок. Можно выразить даже в цифрах: «Я одинок на четыре человека» или «я одинок на пятнадцать людей». Но: «Я одинок», — говорит абсолютно одинокий человек. Это тот, наверное, кто вообще молчит. Ведь если ты даже спросил на улице время, то уже рассказал о себе. Человек Одинокий живет иллюзиями, иначе он сойдет с ума или повесится. Если он позволит себе додуматься до того, что он никому не нужен — ни деревьям, ни птицам, ни другим людям, он не выдержит. Поэтому Человек Одинокий заводит кошек, собак, фикусы, друзей, жен, детей. Все это от одиночества, ахпер-джан. Но все дело в том, что ни один человек не сможет сказать: «Я одинок на шесть миллиардов людей». Апсос, Джеко-джан, шат апсос**! Хотя кто знает? Может, через два-три столетия придумают такие аппараты, которые надевают на голову и которые показывают все, что ежесекундно происходит в голове человека. Тогда не будет ни воров, ни убийств, потому что будут видны все намерения и желания человека, все будет наглядно. Но тогда человечество вымрет, потому что, Джеко-джан, человеку захочется быть абсолютно одиноким. Вот и все.

Значит, человек генетически предрасположен к одиночеству. Собственно, он так и живет — одиноко, совершая ошибку за ошибкой (жизнь — это все же цепь бесконечных ошибок). Однажды утром ты встаешь и чувствуешь, что весь покров иллюзий, в который ты себя заботливо укутал, кто-то грубо с тебя сдернул, и ты оказался голым, не защищенным... Так что ж все-таки происходит? Просто ты стал сомневаться в том, что твоя работа кому-нибудь нужна. Жизнь — это головоломка, и состоит она из миллионов маленьких кусочков. Всю жизнь ты стараешься собрать ее и лишь в конце понимаешь, что собрал неправильно, ошибся. Вся штука в том, чтобы не ошибиться, угадать, положить каждый маленький кусочек на свое место.

* Уильям Сароян (1908–1981) — американский писатель армянского происхождения.

** Жаль, очень жаль! (арм.).

Но тут, Джеко-джан, одного ума и даже хитрости мало, тут нужно еще везение, потому что ты никогда не можешь знать заранее. Ведь у тебя есть лишь один шанс собрать эту картинку правильно. И в конце концов ты понимаешь, что тебе не повезло. Да, ты ошибся, не сумел, проиграл, прогадал.

Единственное, в чем был уверен старый Ара Маноян, это то, что Утром всегда восходит Солнце, что после Зимы всегда наступает Весна. Но пока снег шел и шел, и ветер не стихал, и от грозно воющей железной печки создавалось ощущение абсолютной бесконечности времени или бытия, и абсолютного одиночества... Кстати, Бог одинок совершенно так же, как и человек. Бог создал человека по образу и подобию своему — одиноким. И в этом тоже старый Ара Маноян никогда не сомневался. И жил один с собакой Джеко в крепости Пагаберд на вершине скалистого холма, нависшего, как коршун, над деревней Паг, жил вот уже три месяца. И однажды, когда чистил от снега тропинку, ведущую к крепости, он услышал:

— Варпет! Варпет! Собаку держи! Нас Ваге послал к тебе! Саакян! Варпет, варпет!..

13

Одежда Ара Манояна была такой, какой она была почти у всех в деревне Паг, — смесь деревенской и городской: широкий костюмный шалвар*, опоясанный простой бечевкой, суживающийся у щиколоток и заправленный в шерстяные вязаные носки. Поверх клетчатой байковой недешевой рубашки — «курк», то есть безрукавка из козьего меха, и на голове — старая засаленная кепка, такая же старая, как и его ботинки. Руки у писателя были грязные, с неприятно длинными почерневшими ногтями на потрескавшихся пальцах. Он был небрит, вернее, уже давно бородат. Длинные желто-белые волосы зачесаны назад и скрывали большие стариковские уши с густой черной растительностью.

Ара Маноян с какой-то непонятной хмуростью встретил молодых гостей и пригласил в «дом», то и дело урезонивая непонятно от чего разбушевавшегося пса. Джеко, казалось, был рад гостям, прыгал, лаял и улыбался, неистово виляя хвостом. Когда уже зашли в башню крепости, Ара Маноян взял из рук Липарита пакеты с продуктами и показал на тахту, на которую Лилит и Липарит сели, а сам принялся разжигать печку.

— А то вы тут замерзнете,— сказал он.— Будем пить чай. С дороги, небось, проголодались.

Лилит, сняв куртку-пуховик, огляделась по сторонам и, не выдержав, спросила:

— Как вы живете здесь, варпет? Как можно здесь жить?!

Ара Маноян ответил:

— Вполне нормально. Мне много не надо.

— Но здесь невозможно жить!

И Ара Маноян возразил, не без труда растопив печку:

— Человек ко всему может привыкнуть. Да-да, так и знайте. Человек — такая скотина, что может вытерпеть все. Никакое животное, если наделишь его человеческим сознанием, не выдержит и сломается. Представьте лошадь, кончающую жизнь самоубийством. Смешно, правда? Потому что такого быть не может. Человек — единственное существо на Земле, которое может столько вынести, и одновременно единственное, которое может убить самого себя (киты — не в счет). Ведь, памятуя Акутагаву Рюноскэ, даже боги не могут совершить самоубийство. Они бессмертны

* Брюки (арм.).

поневоле. Вот так. Вы читали Акутагаву? Нет? Почитайте. Вы, я вижу, умные молодые люди. Скоро чайник закипит.

— Да мы не голодны, варпет,— сказал Липарит, почесывая за ухом Джеко, положившего морду ему на колени.

— Вы же столько шли по снегу. А от снега всегда аппетит разыгрывается,— впервые улыбнулся Ара Маноян, потом, словно поймав потерянную нить мысли, продолжил: — Ведь как оно устроено в мире? Задача каждого животного — выжить. В животных жажда жизни возведена в инстинкт, животные даже не задумываются об этом. Перед человеком же всегда стоит вопрос самого известного принца датского королевства. Как будто нельзя решить всегда в пользу «быть»! Только человек может насытиться жизнью настолько, чтоб самолично прервать ее. Таким образом, человек малодушнее любого животного в этом отношении. С другой стороны, только человек способен вынести, выдержать столько бед и страданий. К тому же он ведь еще и *все понимает*... Любая горилла на его месте давно бы сломалась. Знаете? Чем больше человек может вынести страданий и бед, тем меньше он животное. А еще человек — это самое гениальное, что придумал Великий Писатель.

— Вы называете Бога Писателем? — спросила Лилит.

— Да. Ну и что? Какая разница, как Его называть? Леонардо называл Его Великим Инженером. Неважно. Дело лишь в том, что Великий Писатель никогда не переписывает черновик. Вернее, сразу пишет набело. Порой выходит не очень хорошо, часто — несправедливо. Апсос, шат апсос. Хотелось бы, чтоб Он переписывал последние страницы каждой главы своей Книги под названием «Мир». Ведь каждая главка у Него заканчивается одинаково. Он — Мрачный Писатель, все всегда у Него умирают. Вот конец главы «Грант Матевосян» я бы переписал. Но не смогу. А Грант смог бы...

Ара Маноян разлил по эмалированным кружкам кипятков и уже в кипятков бросил по горсточке урца^{*}. Достал с полки и поставил на маленький шатающийся журнальный столик перед тахтой банку с сахарным песком, сыр и печенье, которые принесли с собой Лилит и Липарит.

— Пирожные я оставляю для Джеко, он их любит. Согласны? Он всегда надеется, что кто-то вот так придет в гости и принесет ему пирожное.

— И поэтому вы расчистили от снега тропинку к крепости? Вы всегда ждете гостей? — спросила, улыбнувшись, Лилит.

Старый писатель хмуро, как будто обидевшись, ответил:

— Я никогда не жду гостей. А вот Джеко — всегда. Снег же я расчистил, потому что... Потому что я так борюсь со снегом... Вот!

— Сизифов труд,— вставил Липарит, откусив печенье и отправив в рот кусок соленого до невозможности деревенского сыра. Потом отпил чаю с урцем.

— Нет, не сизифов труд! — неожиданно резко возразил старик.— Все до сих пор неправильно трактуют миф о Сизифе. Сизиф не просто делает заведомо ненужную работу (поскольку она изначально обречена на неуспех). Сизиф — самый великий из всех, потому что он единственный, кто не теряет надежду. Он всегда надеется, что в этот раз ему удастся докатить камень до вершины. Так что Камю был неправ: Сизиф — не абсурд. В его, казалось бы, абсурдной работе есть колоссальный смысл: надежда. Сизиф — он как писатель. Писатель осознает, что не сможет изменить и спасти этот мир, но продолжает писать, надеясь, что творит добро. Ведь нельзя, согласитесь, сесть и написать злую книгу. Я себе этого никак не представляю. Книга просто не получится. А писатель всегда пишет потому, что не теряет надежды. Когда надеяться больше не на что, он кончает жизнь

^{*} Чабрец (*арм.*).

самоубийством. Но нигде не написано, что Сизиф покончил с собой. Так что точно вам говорю: Камю ошибся! Сизиф не был абсурдным персонажем, надежда никогда не абсурдна. Надежда — это и есть писательство. Послушайте! Писательство — это когда ты идешь по мокрому тротуару, заходишь в мокрый парк и прислушиваешься к тому, что надо будет обязательно запомнить. Например, что ты чувствуешь, когда прикасаешься к холодному мокрому стволу дерева. Ранней весной или поздней осенью, когда на дереве пока еще (или уже?) нет листьев. Прикосновение очень приятно. Через какие-нибудь пять минут пальцы начинают замерзать, и ты суешь руку в карман и чувствуешь, как карман становится влажным, потому что рука у тебя была мокрой. Ты закуливаешь и продолжаешь свой путь, и лишь время от времени останавливаешься, чтоб опять потрогать дерево. Деревья улыбаются тебе уже тогда, когда ты только-только подходишь к ним; когда же ты кладешь руку на ствол, они сразу же начинают тебе рассказывать о себе. О том, что холода в этом году слишком затянулись и что цветения раньше половины мая нечего ожидать. Каждое дерево может рассказать об очень многом, и они очень разные — ты это чувствуешь ладонью. У каждого своя душа, лицо, своя улыбка. Деревья могут улыбаться, совсем как люди. Впрочем, ты замечаешь, что в последнее время они чаще грустят, чем улыбаются. Посмотрим, как будет, когда они зацветут. Пока еще рано: деревья стоят хмурые, мокрые и, кажется, оживают лишь тогда, когда ты прикасаешься к ним ладонью. А тебе лишь надо внимательно слушать и записывать их истории. Деревья — как люди. Понимаете? Потом ты прощаешься с деревьями-людьми (некоторые — настоящие твои друзья!) и идешь домой. Грустный, морозящий дождь и истории, рассказанные деревьями, наполняют тебя тем, что обычно люди называют творчеством. Ты уже больше ни о чем не думаешь. Ты знаешь, что пока у тебя есть бумага, а ручка твоя пишет, тебе не о чем беспокоиться. Вот что означает писательство! Писательство — это надежда! Я много говорю, да? Простите. А вы думаете, Джеко легко? Он просто вам из вежливости не жалуется на меня. — И старый писатель рассмеялся, закашлявшись. — Вы не торопитесь?

— Скоро нужно будет уже уходить. — Сказал Липо. — У вас есть дрова? Хотите, я вам наколю дров?

— Да, тгас*. За башней свалилось дерево. Я его никак не затащу сюда. Пойдем, покажу.

Когда Ара Маноян и Липарит, племянник знаменитого писателя Ваге Саакяна, вышли из башни, Лилит стала расхаживать по залу и наткнулась на стопку бумаг, лежавшую рядом с печатной машинкой на тумбочке. Это была рукопись. Переехав из Еревана жить в крепость Пагаберд, Ара Маноян сочинил «Пролог» к книге, которую собирался здесь написать (и написал в итоге). Лилит прочла:

«И не будет больше такого, чтоб после Ночи была Ночь, но после Ночи всегда будет Утро и взойдет Солнце. Оно есть всегда, даже если идет дождь и ты не видишь Его».

С этого «Пролога» и началась его жизнь в Пагаберде. С этого «Пролога» и началась книга. И Лилит обещала себе обязательно ее прочесть, когда она выйдет в свет.

Когда Липарит — вспотевший, уставший, но радостный — вернулся вместе со старым Ара Манояном обратно в башню, пора было прощаться. Давно уже стемнело.

— Хотите, мы к вам каждую неделю будем приходить? — спросила Лилит, обняв старика.

— Нет... Простите меня. Но не надо приходить. Да вы и не придете больше никогда. Лучше будет, если я не буду ждать. А Джеко я все объясню. — Он повернулся

* Мальчик мой (арм.).

к Липариту.— Скажи своему дяде, что со мной все хорошо. И что я пишу книгу. Чего и ему желаю. Скажи еще, что я обязательно вернусь. Ты так и скажи ему. Он поймет. Скажи еще, что, если вдруг он встретит когда-нибудь своего друга Гарика, моего бывшего пса*, пускай передаст, что я не держу на него зла. И Лилит с Липаритом ушли. И когда стемнело окончательно, Ара Маноян напился. И Джеко пришлось спать в другой комнате в той самой старой башне полуразрушенной крепости Пагаберд, одиноко возвышающейся над засыпанной снегом деревней, лежащей на берегу реки Ган.

14

- Я сегодня так устала! Сизиф, Ара Маноян, ты еще такой на мою голову...
- Какой? — рассмеялся Липарит Овсепян.
- Невозможный...
- Но что я сделал-то?
- Разве это важно?
- А ты стервозна.
- Пошел на х.., Липо-джан!
- Не знал, что ты материшься по-русски.
- И по-армянски, и по-английски, а если рассердить, то смогу и по-немецки. Липарит рассмеялся.
- Пошли домой. Ты правда готова была каждую неделю приходить к Ара Манояну? — спросил он.

Лилит улыбнулась и ответила:

— Когда ему говорила это, была уверена, что да. Но ты же понимаешь, что это невозможно. Снег перестанет, дороги откроются, наши приедут. А потом мы все уедем в Ереван (господи, как же я ненавижу Ереван!). Да и тебя призовут в армию. Ты сам мне говорил.

- Я сейчас скажу тебе так, как ты мне недавно сказала, — ответил Липо.
- Ты о чем?
- Иди на х.., Лило-джан!
- На твой? У тебя хороший русский, Липо.

Прошло еще два дня. И снег продолжал идти, как шел, не переставая ни на секунду, лишь временами усиливаясь и затихая. Пятый день Дзоркского Циклона, как о нем писали ереванские СМИ, был самый трудный. Все умерло и, казалось, действительно потеряло смысл. На улице было так холодно (и это при том, что шел снег, а говорят: когда идет снег, теплеет), что никто не смел выйти из дома; дома же можно было согреться только в постели. Охватывало какое-то оцепенение, апатия, и еще случались приступы истерики у Лилит.

В то пятое утро, проснувшись, она ушла с головой под одеяло и заплакала. Липарит что-то писал в блокноте. Рука замерзала, замерзала ручка, которой он писал, и ему пришлось взять карандаш. Сегодня он в кухонной кладовке нашел полбутылки водки, и они с Лилит ее выпили с утра (наверное, поэтому теперь она и плакала: спьяну). Липарит думал о том, что еще один-два таких дня — и город окончательно перемерзнет, и тогда граждане Дзорка начнут убивать... Нет, не начнут. Ведь такого не было, даже когда продукты стали заканчиваться, тогда, в девяностые...

- Что ты все пишешь и пишешь? — спросила из-под одеяла Лилит.— Нет твоего компьютера, поэтому пишешь в блокнот?
- Это дневник.
- Зачем?

* Зять (арм.).

— Не знаю. Когда мы встретились в тот день у церкви, я решил вести дневник.

— Ты псих, Липо-джан!

Так прошел весь день. Под одеялом. Вечером же пришли в гости «гигант» Закар с женой, миниатюрной Анушик. Сидели на кухне. Пили чай, вскипяченный на спиртовке, пиво, ели печенье. На столе горела свечка. Липарит что-то записывал в дневнике, потому что света не было и комп включить не было никакой возможности. Закар (он принес все пиво, какое у него было в «трамвайчике») решал свой кроссворд; Лилит и Анушик о чем-то вполголоса переговаривались. Все были в свитерах, куртках, перчатках. Из рта валил пар. Время от времени Закар поднимал голову и спрашивал какое-нибудь слово из кроссворда, Липарит отвечал. Вот и теперь:

— Тут еще одно слово: «мосты, сооруженные древними римлянами», семь букв.

— АКВЕДУК,— ответил Липарит машинально, и Закар не отпустил шутки по поводу его «чрезмерной эрудированности». Шутить вообще никому не хотелось. Закар молча вписал буквы в клеточки.

— С ужасом думаю о том, что будет завтра,— сказала вдруг Лилит.— Люди начнут рубить деревья для печек прямо в городе.

— Нужно запретить,— сказала жена Зако.— Хотя... Я уже ничего не знаю. Даже у нас в Доме радио нет света. Пусть полицейские охраняют деревья.

Лилит рассмеялась.

— Смешное это будет зрелище: под каждым деревом по полицейскому.

Когда Зако и Анушик ушли, Лилит сказала Липариту:

— Знаешь, Анушик беременна. Как ты думаешь, у нее все же есть роман на стороне?

— Не знаю. Но я знаю, что жаль будет Закара, если у нее действительно окажется роман. Давай в постель, в постель срочно! Только в постели мы сможем согреться! — ответил Липарит.

Солнце появилось лишь на седьмой день. Жители Дзорка проснулись утром седьмого дня и поняли, что с Циклоном покончено. На небе не было ни единого облачка, и с утра почему-то стало так тепло (подул теплый, сухой южный ветер), что начал таять снег, и улицы древнего городка превратились в реки, речки, речушки, а вода в реках Ган и Чаги поднялась до такой степени, что заливала мосты. В полдень дали электричество, и сразу же заработало радио. По радио жители Дзорка и узнали, что вечером на площади у памятника национально-освободительному герою XVII века, недалеко от церкви сурб Мариам, состоится митинг, на котором выступит мэр Дзорка (поговаривали, что из Веврунка приедет и марзпет). Весь день город бурлил невероятным весельем, восторгом, радостью. Казалось, народ вышел на улицы отметить какую-то победу; хотя никто не воевал, понятно было, что Циклон уничтожил бы город, если б не неожиданное прояснение погоды.

Вечером все пошли на площадь. Рядом с памятником герою XVII века соорудили сцену, поставили микрофоны. Вся площадь освещалась мощными прожекторами. Люди стояли со свечами в руках и смотрели на трибуну. Первым выступил настоятель церкви сурб Мариам, который благословил всех жителей Дзорка, благословил победу над Циклоном и трижды произнес «Տէր, նորրիւն՝. Տէր, նորրիւն՝. Տէր, նորրիւն՝». Потом выступил мэр, который поблагодарил столичные власти за содействие и помощь (собранный народ рассмеялся, потому что никакой помощи не было и в помине — дороги-то были закрыты, а воздушного сообщения между Ереваном и Дзорком не существовало с 1991 года; то и дело слышались возгласы: «Как же я не люблю Ереван!»). А потом к микрофону подошел старик. Одежда его представляла собой смесь деревенской и городской: широкий

костюмный шалвар, опоясанный простой бечевкой, суживающийся у шиколоток и заправленный в шерстяные вязаные носки. Поверх клетчатой байковой недешевой рубашки в клетку — «курк», то есть безрукавка из козьего меха, и на голове — старая засаленная кепка, такая же старая, как и ботинки. Руки у старика были грязные, с неприятно длинными ногтями на потрескавшихся пальцах. Он был небрит, вернее, уже давно бородат, длинные, желто-белые волосы его были зачесаны назад и скрывали большие стариковские уши с густой черной растительностью. Старый писатель Ара Маноян встал у микрофона, откашлялся и произнес:

— Сегодня, в последний день января две тысячи третьего года, закончилась Эпоха Страшных Зим. Закончился двадцатый век. Закончилось второе тысячелетие. Сегодня случилось обнуление. Время теперь будет стремительно улетать вперед, и нам удастся оседлать время бегущее. И улететь навстречу рассвету. Ведь когда время движется, кажется, что рассвет уже скоро. Что после ночи не наступит ночь. Что после зимы не будет снова зима. И что будет вечер, будет утро, наступит день и взойдет солнце. И не будет больше такого, чтобы после Ночи была Ночь, но после Ночи всегда будет Утро, и взойдет Солнце... И не будет последних дней.

Липарит Овсепян и Лилит Карапетян стояли, обнявшись, под фонарем на камне парапета Большого моста. В руках у Лилит была свечка.

— Видишь, Липо-джан! — сказала она радостно. — Теперь уже можно будет все часы в доме выбросить. Не надо бояться будущего. Теперь все будет хорошо! Ведь Маноян так сказал! Больше не будет, чтоб после Ночи была Ночь! — И она поцеловала его.

Через месяц, в марте 2003 года, сразу же после подписания президентом указа о весеннем призыве, Липарита Овсепяна забрали в армию. Больше о нем Лилит никогда не слышала. И больше его никогда не видела. Липариту Овсепяну же больше никогда не суждено было подойти к компьютеру и услышать сладкое, манящее, будоражащее «Ку-ку!» *родной* программы ICQ.

Отслужив в армии два года (служил он в Карабахе), Липарит решил больше не возвращаться ни в Ереван, ни в Дзюрк, он записался добровольцем в Армию обороны НКР.

— Я тут нужнее, — сказал он своему дяде, известному армянскому писателю Ваге Саакяну. — Тут люди проще. Лучше... Знаешь, говорят, жители Степанакерта* в перерывах между бомбежками выходили из укрытий и подметали улицы родного города. Ты это знал? Так что... Тут люди настоящие. Я не вернусь.

И Липарит действительно остался в Карабахе. Обучал молодежь, который приезжал сюда служить, жил в селе Левонарх и писал дневник, изредка навещаясь по каким-то своим делам в Степанакерт.

А четвертого марта 2008 года, спустя три дня после событий первого марта в Ереване**, начались военные столкновения в Мардакертском районе Нагорно-Карабахской Республики. Начиная с подписания Соглашения о прекращении огня 1994 года, это было самое крупное столкновение между вооруженными силами Арцаха и Азербайджана. Пытаясь воспользоваться тем обстоятельством, что в Армении было объявлено чрезвычайное положение, Азербайджан напал на вооруженные силы около села Левонарх, Мардакертского района.

Տէր, յո՞րքու՞նք .

В том самом 2008 году Липариту Овсепяну было уже двадцать шесть лет, и он был капитаном. Жил себе в том же самом селе Левонарх, писал дневник, в год по несколько раз перечитывал последний роман Ара Манояна. Одиннадцать лет жил

* Столица Нагорно-Карабахской Республики.

** Серия протестных акций, состоявшихся после президентских выборов 19 февраля 2008 года в Ереване и закончившихся столкновениями митингующих с органами правопорядка в ночь на 1 марта.

совершенно один и был уверен, что защищал границу.

Следующее крупное столкновение между Армией обороны Арцаха и Азербайджаном — по сути, война — случилось спустя восемь лет, в апреле 2016-го. Липариту было тридцать четыре года, когда он погиб, защищая границу, погиб от осколка артиллерийского снаряда. Никто не знает, сколько ударов за всю жизнь делает сердце человека. Никто никогда не может это подсчитать точно. Но там, наверху, на небесах, куда мы все отправимся после смерти, знали: сердце Липарита Овсепяна остановилось на 1250928982-м ударе.

Տէր, յղորմեա՛ւ. Տէր, յղորմեա՛ւ. Տէր, յղորմեա՛ւ.

15

До апреля 2003 года Арам Назарян возглавлял Независимую радиокompанию Дзорка, свое детище, свою гордость, размещавшуюся на втором этаже Дома радио, который всегда жужжал, как улей, даже в Эпоху Страшных Зим, то есть в 90-е годы. Дом радио был одним из тех редких мест не только в Дзорке, но и во всем районе, где электричество не выключали почти никогда и где работало отопление. Здесь всегда было светло и тепло, поэтому работники радио (наверное, и в Ереване тоже так было) чувствовали себя представителями высшей касты. Кто приносил сюда с собой электробритву и здесь брился, кто варил на электрической плите обед для семьи, кто — кипятильник, шампуни и мыл голову, а потом одалживал у подружки фен, чтоб просушить волосы... Нетрудно догадаться, что в Доме радио вообще и в Независимой радиокompании Дзорка в частности работники занимались своими профессиональными обязанностями лишь в «свободное время», и начальству приходилось закрывать на это глаза, поэтому в коридорах Дома радио часто можно было услышать такой диалог:

— Третья студия свободна?

— Я сейчас иду туда. У меня интервью со стариком Серобом. Ну, Сероб, что вечно сидит на скамейке у автобусной остановки. Оказывается, он самый старый из живущих участников Отечественной войны. И он отец нашего АН'а.

— А, ну хорошо! Тогда я успею просушить волосы. Мне материал нужно записать для завтрашнего эфира.

Можно лишь догадываться, какие запахи стояли в стенах Дома радио, построенного еще в 1960-х годах и являющегося одной из достопримечательностей древнего Дзорка.

НРД, как уже было сказано, занимала весь второй этаж Дома. В конце коридора, по обе стороны которого располагались редакции, находился кабинет Арама Назаряна. Сотрудники радиокompании называли его АН'ом — по аналогии с самолетами Олега Константиновича Антонова — добавляя к аббревиатуре количество исполнившихся ему лет: АН-37, АН-45... Арам был красивым мужчиной, уже, впрочем, начинающим седеть, и обладал «обворожительной» улыбкой. АН всегда говорил, что каждый журналист должен уметь *обворожительно* улыбаться («как я!»). Он был уверен, что восемьдесят процентов успеха работы журналиста зависят от его умения улыбаться, и действительно, благодаря этому своему умению Арам добился осуществления своей мечты: иметь собственную радиокompанию. Так что можно было сказать, что Арам Назарян в 90-е — да и потом! — был счастлив.

Передачи Независимой радиокompании Дзорка выходили на четырех языках каждый день (хотя резонно возникал вопрос: кто же в далеком Дзорке должен был слушать передачи на английском, русском и французском? Но это было не так уж и важно), и каждая редакция, составленная по языковому принципу, имела по тридцать минут эфирного времени. В каждой редакции было по два-три редактора и целая армия внештатных корреспондентов. На материалах, доставленных

внештатниками, и жидилось, откровенно говоря, существование радиокompании. Автором идеи использовать труд внештатников как *бесплатную* рабочую силу был сам АН, который часто говорил своим редакторам:

— Пусть дети бегают, достают материалы, а вы займитесь чем-нибудь более серьезным.

И действительно: внештатники рыскали по Дзорку и окрестным деревням, словно голодные собаки в поисках еды, приносили на суд редакторов свои каракули и с трепетом ожидали приговора — пойдет материал в эфир или нет. Если возраст внештатников колебался от пятнадцати до двадцати лет, то редакторам было намного больше, и каждый из них чувствовал себя богом. Верховным же богом был, конечно, сам АН. Но в апреле 2003-го соответствующее ведомство при минкульте предложило ему возглавить радиостанцию в Ереване, так сказать, перенести в столицу свои способности «эффективного менеджера» и «богатый опыт работы».

АН преуспел и тут, и вскоре вверенная ему радиостанция FM стала одной из самых популярных в республике. И все это опять благодаря неунывающей армии внештатников и своей помощнице Джемме Саркисян — единственному сотруднику, которого Арам Назарян оставил на радиостанции, когда стал ее руководителем (новая метла метет по-новому, и АН первым делом заменил весь штат, вплоть до уборщиц).

До самого марта 2008 года популярность и вес Арама Назаряна все больше росли в обществе вообще и в сфере медиа в частности, ему прочили карьеру в министерстве культуры. Однако после событий марта 2008 года что-то пошло не так — никто не знал причины — и блеск звезды Арама Назаряна стал тускнеть с каждым месяцем, с каждым годом, пока не погас вовсе. В новом кабинете министров никто не предложил ему какой-либо должности, кроме того, *руководство* ясно дало понять, что предпочитает видеть во главе популярной радиостанции кого-нибудь другого. В 2012 году АН-55 подал в отставку, наконец-то женился на дочке своего школьного друга Гарика Гарибяна (и по совместительству внучке Ара Манояна), уехал жить в Барселону и никогда больше не возвращался в Армению. Но все это будет потом.

А пока...

Пока, сидя воскресным утром в новом своем кабинете в Доме радио, но уже города Еревана (на улице Алека Манукяна), в последний день января 2007 года, АН-50 осваивал новейшую программу, которую закачал в его компьютер системщик из отдела техподдержки: Skype. Арам Назарян думал: зарегистрироваться ли в этой новой программе под привычным ICQ-евским никнеймом Sago или же придумать себе новое имя. В руке он держал полученное еще вчера письмо от неизвестного Z. Письмо было путаное, но смысл понятен. В нем сообщалось, что его сыну, то есть сыну Арама Назаряна от некоей Ануш, уже исполнилось четыре года и что этот самый Z, автор письма, в скором времени приедет в Ереван, чтоб навестить Арама Назаряна и потребовать компенсации. В противном случае Арам Назарян очень пожалеет. АН не знал, как отнестись к этому письму, тем более что о существовании сына он до этих пор ничего не знал. Как, впрочем, ничего не слышал и о миниатюрной Анушик с тех самых пор, как та уволилась из Дома радио в Дзорке, и тем более не мог предположить, что через несколько часов ему на мобильный позвонит Мэрико и сообщит еще одну новость.

Пока же он сидел в своем кабинете на третьем этаже Дома радио в Ереване, на улице Алека Манукяна, и играл солнечным лучом, отражавшимся на стене от его новеньких дорогих часов, подаренных самим замминистра на день рождения.

Тот же самый луч воскресного январского солнца скользнул между занавесками одного из окон старого «сталинского» дома на перекрестке проспекта Баграмяна и Московской улицы и, пробежав по пыльному ковру и грязному паркету, перекинулся на диван-кровать, прополз по простыне в цветочках и, поднявшись чуть выше, вспрыгнул на подушку и горячей волной накрыл глаза молодой женщины. Сердце Мэрико забилося быстрее, и она проснулась. Солнце поднялось еще выше, и луч исчез из комнаты, где опять стало так же полутемно, как раньше. Мэрико не хотелось вставать с постели, которая согрелась только к утру (мама, вай, мама, упустившая из виду, что Эпоха Страшных Зим уже закончилась, и по-прежнему на всем экономившая!), есть тоже не хотелось, не хотелось даже кофе. Слышно было, как мама (вай, мама!) возится на кухне и напевает: «Ciao, bambino, sorry!» — должно быть, песенку своей молодости. А потом вдруг:

— Мэрико, вставай, уже поздно!

Мэрико решила не отвечать, притвориться «спящей красавицей», но от мамы не так легко было отвязаться. Спустя десять минут Маргарита, словно торпеда, ворвалась в комнату. В одной руке у нее была сигарета, в другой — половник.

— Мэрико, ты не слышишь?! Я говорю: уже поздно, пора вставать!

Притворяться больше не имело смысла, и Мэрико застонала:

— Ну, мама, что такое?! Я хочу спать. Сегодня же воскресенье!

— Но уже десять часов!

— Ну и что? Воскресенье!

— Вставай, ахчикс*. Нужно пропылесосить твой ковер, помыть пол... Хочешь, бутербродики сделаю, с чаиком съешь?

— Вай, мама! Мне скоро двадцать пять! А ты все «бутербродики», «чаик», «сокик»... Встаю, ладно! — И Мэрико села в кровати.

— Вставай сейчас! — сказала подозрительная Маргарита. — Знаю я тебя: уйду, ты снова ляжешь.

— Мама!

Все еще не старая тикин Маргарита Маноян, прекрасный переводчик, знаток английского, в конце концов, дочка великого Ара Манояна, вышла из комнаты («Ciao, bambino, sorry! Та-дам-та-дам, та-дам-тадам...»). А Мэрико встала на коврик у кровати и посмотрела в окно. Голова звенела после вчерашней попойки, подташнивало, и Мэрико грязно выругалась. Вообще, ей нравилось материться — делала она, впрочем, это только мысленно или шепотом — Мэрико чувствовала себя при этом сильнее и увереннее. Теперь она выругалась снова, ощутив не только звон в голове, но и страшную сверлящую боль в правой передней части темени. «Будет опять мигрень, — подумала она. — Мигрень с похмелья! — И добавила по-русски: — П..дец!»

Мэрико попыталась вспомнить вчерашний вечер, медленно, с трудом выковыривая из отравленной водкой памяти осколки событий, но там были сплошные провалы, и картинка не складывалась в одно целое. Ну да, опять с Джеммой выпивала. Потом пришел Джеммин бывший жених Арташ, что-то кричал, потом Мэрико приставала к нему. Далее Мэрико вспомнила, как Джемма и Арташ ее усаживали (не без борьбы) в такси, называли таксисту ее домашний адрес, и она ехала, пытаясь по дороге соблазнить этого самого таксиста, потом — опять провал до утра...

За окном светило солнце, лежал выпавший ночью снег, было почти безлюдно и тихо, очень тихо. Она оделась (голая спала!) и вышла из своей комнаты с голубыми

* Доченька моя (арм.).

обоями и письменным столом. В прихожей мама надевала пальто, потом напялила на голову свою странную вязаную шапку.

— Куда это ты собралась?

— Как куда? За хлебом, конечно. Хоть и воскресенье, но надо же вовремя купить хлеб!

— Понятно. Знаешь, мамуля, у тебя довольно-таки нелепый вид в этой шапке, тебе не кажется?

— Вот еще! — фыркнула Маргарита. — Бутербродики на столе. Воду для чая вскипятила. Какая ты худая!

— Вай, мама, не надо!

— Все, я пошла. Вернусь не скоро. Может, загляну на вернисаж. Вдруг дедушкин самовар купили?

— Хорошо, — сказала Мэрико уже из уборной. Уборная была самым холодным местом в квартире, и Мэрико вспомнила, как отец всегда говорил ей и Маргарите: «Не отморозьте задницы!» Мэрико считала своего отца вульгарным, называла его не иначе как по имени и радовалась, что Гарик уехал в Москву на заработки — как говорят в Армении, уехал на хопан^{*}: хоть деньги посылает каждый месяц, и то хорошо!

— Если твой Гарик нам посылает такие деньги, представляешь, сколько он на самом деле зарабатывает? А ты все экономишь и экономишь! Мы так перемерзнем! — сказала Мэрико недавно матери.

В ответ Маргарита лишь тихо произнесла:

— Как он там без нас, бедненький?

— Ты его не очень-то жалеешь! Небось, нашел себе какую-нибудь русскую красавицу-блондинку с ножками от ушей и моложе тебя.

Маргарита обиделась и весь день не разговаривала с дочерью, хотя Мэрико не так уж была и неправа: Гарик действительно нашел себе в Москве «блондинку с ножками от ушей», и ее звали Надя. Տէր, նորմալ՝.

Принимая в то солнечное воскресное утро последнего январского дня 2007 года душ, стоя под струями почти кипятка, Мэрико почему-то вдруг разрыдалась, и ее стошнило прямо на ноги. Ей вдруг стало очень жалко себя, и сквозь слезы, смываемые горячей водой, она повторяла одно и то же:

— Боз**! Боз Мэрико!

Позавтракав, Мэрико отпечатала на маминой пишущей машинке Erika: «Ушла к Джемме. Пылесос откладывается на неделю. Твоя М», оделась и вышла из дома. Несмотря на ослепительно яркое солнце, снег и не думал таять, но Мэрико не чувствовала холода. Она пересекла площадь Оперы, миновала Лебединое озеро, потом пошла по улице Туманяна, все время напевая про себя: «Ciao, bambino, sorry!» Дойдя до конца улицы, свернула во двор и удивилась количеству полицейских машин перед домом, где жила Джемма. Вошла в подъезд и замерла. Сверху доносились голоса, какая-то женщина кричала. Выйдя из оцепенения, Мэрико побежала по крутым ступеням вверх. Перед распахнутой дверью Джеммы собралось много людей. Мэри вошла...

Տէր, նորմալ՝. Տէր, նորմալ՝. Տէր, նորմալ՝.

На полу, в центре единственной в квартире комнаты, лежала Джемма («очень мертвая», подумала Мэрико), а вокруг ходили мужчины в штатском и двое — в полицейской форме.

* Изначально означает «целина». «Хопанить» — ехать на заработки. Хопанчи — гастарбайтеры (арм.).

** Шлюха! (арм.).

— Кто вы? — спросил толстый полицейский.

— Я... мы подруги. Мы были подругами!

— Ваша подруга мертва.

— Ее... убили?

— Нет. Предположительно захлебнулась собственной рвотой. Она была очень пьяна. Ну, это предварительно. Вскрытие покажет точно.— Полицейский внимательно посмотрел на Мэрико.— Вы вместе выпивали?

— Да...

— Где вы работаете?

— Я не работаю. Раньше работала в университете. Доцент...

— Вы можете пообещать, что в течение недели не покинете пределы Еревана? — спросил худой полицейский, плотоядно разглядывая Мэрико.

— Да...

— Подпишите здесь.

— Да...

— Вы свободны.

И Мэрико ушла. По улице Туманяна, потом мимо Лебединого озера, через площадь Оперы... Перед тем как подняться к себе на четвертый этаж, Мэрико замерзшей рукой достала из кармана полусдохший мобильник и позвонила Араму Назаряну.

— Ты где? Я? Я поднимаюсь домой. Заезжай за мной, пожалуйста. Нет. Не в порядке. Джемма умерла. Жду.

Здесь, в Ереване, Арам Назарян, которому в 2007-м было пятьдесят (АН-50), и познакомился полтора года назад с Мэрико, внучкой писателя Ара Манояна, дочкой Гарика, школьного и институтского однокашника Арама. Случился бурный роман, даже поговаривали о свадьбе, но потом что-то не заладилось, и теперь они встречались лишь изредка.

В тот день, когда Джемма умерла, Мэрико поняла, что не в силах будет весь день оставаться с матерью, в тысячный раз слушая ее прокуренное «Ciao, bambino, sorry!», и позвонила ему. Арам действительно был ей нужен. Она даже подумала «сделать ему предложение». Ведь инициатором разрыва два года назад была именно она, а значит, вполне спокойно может стать и инициатором возобновления отношений. И плевать, что Гарика, ее отцу, который был родом из Дзорка, Арам, который тоже, как известно, был родом оттуда, совсем не нравился. Гарик говорил, что знает родителей Арама и его самого.

— Ват мардик ен, ахчикс*.

Мэрико вдруг почувствовала себя мертвой. Она ждала, когда *прилетит* ее АН, и вдруг пожалела, что дома нет мамы.

Но вот АН прилетел. АН утешил. АН был очень чуток и даже нежен. А когда АН ушел, Мэрико поняла, что он — вечный холостяк с обворожительной улыбкой и никогда на ней не женится. Впрочем, она, как известно, ошиблась. Каким-то особым женским чутьем Мэрико догадалась: у АН'а с Джеммой что-то было: они ведь вместе работали. И ей, как всегда, когда она жалела себя, захотелось в детство. Вспомнила она его и в день ею же самой организованной презентации последней книги своего деда — осенью 2008-го, когда АН, которому тогда еще прочили пост не только заместителя министра культуры, но и пост самого министра, подошел к ней и подарил ей коробочку со словами:

— Думаю, это должно находиться у тебя. Это твое. Откроешь дома.

Каково же было удивление Мэрико, когда дома, открыв коробочку, она увидела

* Плохие люди, дочка (*арм.*)

карманные часы с цепочкой, на которых было выгравировано: «Ара Манояну от коллег по цеху. Союз писателей Республики Армения».

Свой десятый класс она перестала вспоминать лишь тогда, когда переехала вместе со своим мужем Арамом Назаряном в Барселону и родила ему сына. Перестала приходить в снах и бедная Джемма, когда она поняла, что на самом-то деле Джемма Саркисян просто-напросто спаивала ее, лишь бы она не досталась великому и прекрасному АН'у.

17

Джемме, когда она умерла, было тридцать два года, и она никогда не была замужем. Худая, стройная, среднего роста, с карими глазами и светло-каштановыми волосами, с родинкой над верхней губой, которая придавала лицу особое очарование, а улыбке — сексуальность, Джемма очень редко носила брюки — только очень короткие юбки, потому что имела длинные красивые ноги и считала, что, если имеешь что-то красивое, нужно показывать это мужчинам. А мужчинам Джемме очень хотелось нравиться, она мечтала наконец-то выйти замуж и считала, что сумеет хорошо вести хозяйство, заботиться о муже и народит ему детей. Но не сложилось, хоть Джемма старалась изо всех сил.

Однажды в ее жизни был роман, который должен был закончиться браком (как она думала), но неожиданно для всех, в том числе для самой Джеммы, жених в последний момент сбежал, и Джемма не понимала причины его бегства. Она очень тяжело переживала его предательство, и еще было обидно, что он так и не сделал ее женщиной. Жених этот — его звали Арташ — был как-то старомодно воспитан и убеждал ее, что у них все произойдет в первую брачную ночь. Он лишь ласкал ее, доводил до иступления и, когда Джемма, изнывая, просила его сделать же наконец-то с ней *это*, останавливался, замыкался в себе или даже уходил, бросив лишь:

— Я же тебе сказал, когда это у нас случится...

Он научил Джемму мастурбировать. Очень часто он сидел при этом перед ней в кресле и смотрел, а когда она кончала, вставал, целовал ее в губы, благодарил за что-то и неожиданно уходил. Джемма терпеливо ждала, когда он созреет для того, чтобы сделать ей предложение. И дождалась. Они назначили дату, оповестили друзей и родственников, даже договорились в церкви. И именно в это время жених исчез. Он, казалось, просто испарился и следа не оставил, лопнул, как мыльный пузырь... Джемма не вспоминала его больше; разве только когда мастурбировала. Да еще тогда, когда он появился однажды на пороге ее квартиры. Это было в тот вечер, когда Джемма пригласила свою подругу Мэрико и они пили водку, закусывая вафлями.

Теперь, в тридцать два года, Джемма поняла, что замуж она никогда не выйдет. Если же это и случится когда-нибудь, то — только за разведенного мужчину или вдовца. И тому и другому будет плевать на ее девственность, так что Джемма решила просто стать чьей-нибудь любовницей. Это была программа минимум. Программа максимум — развести какого-нибудь женатого мужчину и самой выйти за него замуж (шансы на то, что она встретит молодого вдовца, почти равнялись нулю, а старого она не хотела). И Джемма, как говорится, «положила глаз» на Арама Назаряна, с которым работала в Доме радио на улице Алека Манукяна в Ереване. Ему было пятьдесят лет, и он был не женат (удача!). Но надо отдать должное смелости и мужеству Джеммы: чтоб получить АН («программа максимум»), ей пришлось бороться с внучкой Ара Манояна, красавицей Мэрико, которая была моложе ее и которую Джемма при каждом удобном и неудобном случае спаивала. Почему Джемма свой выбор остановила именно на АН, она объясняла следующим

образом: «Арам единственный нормальный мужчина».

Джемма считалась высококвалифицированным журналистом и до работы добиралась на своем маленьком перламутровом «пежо». Машину эту она, как всем говорила, купила на свои, честно заработанные, а не «отсосала», как выражались коллеги, у начальника. Некоторые думали также, что Джемме подкинул немного денег и ее отец, владелец акций какой-то компании, но это было маловероятно, ибо Джемма не общалась со своим отцом с тех самых пор, как умерла мать и она стала жить одна, снимая квартиру (кстати, недешевую), в Малом центре.

Неделю назад, в понедельник, когда Джемма уже садилась в свой «пежо», чтоб ехать к Дому радио, ей на мобильник позвонил сам АН и сообщил, что, как только она доедет, они отправятся на освящение новой церкви в приграничную деревню Аратавор, чтоб записать интервью.

— Ты красиво одета?

— Конечно,— ехидно ответила Джемма.— Как раз для похода в деревню Аратавор в январе: чулки, юбка с разрезом и сапожки на шпильках.

Еще рано утром замминистра позвонил Араму Назаряну на мобильный и приказал присоединиться к нему в поездке в деревню Аратавор: там закончилось строительство церкви при финансировании депутата такого-то, сказал он, это, мол, великое событие, и нужно представить все должным образом.

— Мы все едем, Арам-джан. Кстати,— добавил шеф,— прихвати с собой Джемму, на депутата нужно произвести благоприятное впечатление.

— Я сам могу взять интервью! Я же журналист! — обиделся, кажется, АН.

Но замминистра отчеканил:

— Нет. Я сказал, интервью возьмет Джемма. И точка!

Арам Назарян вздохнул. С некоторых пор он чувствовал некий романтический интерес к себе со стороны Джеммы (то предложит сварить кофе, то сбежать за пончиками, то посетует, что он слишком легко одет...). Он не знал, как к этому относиться, и решил, как всегда, до поры до времени игнорировать. Но даже несмотря на тоску по Мэрико — все же скучал! — перспектива поездки в деревню Аратавор с Джеммой тем последним январским понедельником 2007 года взволновала его. И он сердился на себя за это.

Джемма позвонила ему на сотовый, сообщила, что доехала, и АН, выйдя из кабинета, стал спускаться по широкой лестнице Дома радио. У входа со стороны проспекта Саят-Нова уже стояла, прислонившись к его автомобилю, Джемма.

В ушах звучал визгливый голос замминистра, который орал ему в мобильник, сможет ли Джемма сопровождать депутата по дороге обратно в Ереван, чтоб написать потом о нем добротный материал. Арам Назарян ответил, что они с Джеммой уже выезжают, и дал отбой.

— Хочешь, поедем на моей машине? — предложила Джемма; когда он подошел, у нее забило сердце.

— Нет,— отрезал АН.— Поедем на моей.

Джемма, бросив на заднее сиденье сумочку, села рядом с начальником. Сразу же ее и без того короткая юбка задралась вверх, *обнажились* резинки чулок, и АН понял, что всю дорогу ему придется несладко. Джемма и не подумала поправить юбку, только опустила на глаза темные очки и закурила.

— Что же все-таки случилось? — спросила она, и Арам пересказал свой разговор с заместителем министра.— Очень лестно. Но я не хочу. Какого черта мне ехать обратно в *его* машине? — фыркнула Джемма. Ей нравилось, что при каждом переключении скорости, при каждом повороте руля АН бросал взгляд на ее бедра. От этого делалось жарко, словно по ним проводили теплой ладонью, и Джемма млела от охватывавшего ее все больше прилива желания. «Интересно,— подумала

она, — если он положит руку мне на бедро, что я должна делать?»

В машине от «печки» было действительно жарко, и АН сердился на себя, потому что не мог спокойно смотреть на ноги Джеммы и обильно потел. Он еле сдерживал желание остановить машину и положить ладонь на ее бедро, но приказал себе сохранять хладнокровие.

— Когда мы будем на месте? — спросила она.

— Минут через сорок, — ответил АН.

— Я проголодалась, Арам Серобыч, — сказала Джемма. — Ведь я даже не успела позавтракать.

— Скоро будет забегаловка для шоферов. Купим тебе что-нибудь и поедем дальше.

— А ты разве не голоден?

— Нет... — Арам выжал скорость 100 километров в час.

— Не гони, Арам-джан, — услышал он голос Джеммы издалека.

— Прости... Я не расслышал. Что ты сказала? — Он улыбнулся ей.

— Я говорю, что если мне суждено погибнуть в автокатастрофе, то хотя бы не голодной, — ответила Джемма, сдвинув очки на лоб.

АН сбавил скорость и опять улыбнулся.

— Я просто задумался.

— Где же твоя забегаловка?

— Вон за тем поворотом.

В грязной забегаловке, носившей название «Мер чемпион^{*}» было много народу — в основном дальнобойщики, да еще семейка туристов-иностранцев, очевидно, направлявшихся на Севан (в январе!) — накурено, пахло пивом, потом и подгоревшим маслом, поэтому Арам Назарян решил купить завтрак навынос. Два больших гамбургера, две кока-колы, два стакана кофе, салфетки, жвачку — все это он положил на колени Джеммы и сел за руль.

— Немного отъедем, остановимся у речки и поедим, — сказал он.

— Как скажете, начальник, — весело ответила Джемма, «взяв под козырек» и чувствуя, как ледяные бутылки колы холодят живот и ноги.

Отъехав полтора километра от забегаловки, Арам свернул на проселочную дорогу, ответвляющуюся от главного шоссе, проехал по ней минуты две, а потом прямо по полю — к деревьям, видневшимся внизу, в овраге.

— Вон там должна быть речка, — сказал он. — И нечто, похожее на беседку.

— У нас получится настоящий пикник! Здорово!

Машина спустилась к оврагу, обогнула два-три дерева и остановилась у самой речки. АН выключил мотор, и сразу стало очень тихо, только слышно было, как шумит речка.

— Вот тут и позавтракаем, — сказал он, выйдя из машины.

— Тут нет связи, Арам! — предупредила Джемма.

— Тем лучше, — рассмеялся тот. — Нас не потревожит замминистра. Давай есть!

Скамейки в беседке были мокрыми от растаявшего снега, но краешек стола оставался сухим, и Джемма села на стол. Пятидесятилетний Арам Назарян подумал: «Почему бы и нет? Ведь она сама этого хочет. Почему не дать ей то, что она хочет? Тем более, что это не будет иметь никаких последствий. Неужели нельзя просто доставить друг другу удовольствие и не каяться потом? Это в нас христианство говорит! За каждое удовольствие мы мучаем себя тем, что называем угрызениями совести, и не можем вспоминать удовольствие без раскаяния. Между тем, раскаяние

^{*} Наш путь (арм.).

само есть грех. Ведь даже полюбив, мы раскаиваемся в своей любви, ложно считая это грехом. А не есть ли большой грех сохранение брака без любви? И не самое ли отвратительное выполнять супружеский долг, когда муж и жена уже не любят друг друга? Так что же есть грех на самом деле? Впрочем, это уже нищезанятие... и истерики холостяка...» Так думал Арам Назарян, затевая роман с миниатюрной Анушик, когда еще возглавлял Независимую радиокompанию Дзорка, так он думал, когда классно проводил время с Мэрико, дочерью своего институтского приятеля Гарика, так он подумал и теперь.

Арам Назарян подошел к Джемме, держа в руке наполовину пустую бутылку колы. Другую руку он положил ей на бедро и, скользнув наверх, кончиками пальцев погладил кожу над краем чулка, потом опять спустился к коленям. Он посмотрел на лицо Джеммы. Ее глаза были полузакрыты, она дрожала. Арам придвинулся почти вплотную и стал гладить ее бедра ладонью. Джемма оперлась на руки, чуть откинувшись назад, и от этого ноги ее чуть раздвинулись. И вот уже рука пятидесятилетнего Арама спустилась в ложбинку между бедрами Джеммы и поползла вверх. Когда пальцы его дотронулись до трусиков, она вздрогнула. Он стал ласкать ее. Джемма вздохнула, потом тихо застонала и легла на стол, опрокинув одноразовые стаканчики. Арам продолжал дразнить ее, и Джемма то крепко сжимала бедрами его руку, то широко их раскрывала. Наконец он сдернул с нее трусики и сбросил с себя брюки. Когда он вошел в нее, Джемма громко вскрикнула от боли, застыла на секунду, а потом обняла его ногами.

Кровь пульсировала в висках, и Араму казалось, что он теряет рассудок, тем не менее, он заметил, как из опрокинутого стакана медленно вытекает кока-кола. А еще — что далеко у горизонта облака расступились и стала видна заснеженная вершина Большого Арарата. На мгновение Арам Назарян устыдился того, что Гора *смотрит*, как он совокупляется с Джеммой, но потом мысли его вовсе потеряли строй и последовательность, и вскоре он почувствовал боль и одновременно бесконечную радость обладания, услышал крик Джеммы, почувствовал, как она задрожала всем телом и очень крепко сжала его бедрами.

АН застыл на мгновение, потом надел брюки, закурил и посмотрел на небо. Облака скользили по нему и ничего не напоминали. Странно, подумал Арам, что многие находят какие-то ассоциации, глядя на облака. А они как раз-таки ничего не напоминают; просто белые облака скользят по синему небу. Арам Назарян подумал еще: странно, что он может думать о таких вещах сразу после секса. Может, это оттого, что секс с Джеммой ничего для него не значит?

Отбросив подальше окуроч, он сел на край стола и посмотрел на нее. Джемма все еще лежала с задранной юбкой, смотрела на него и улыбалась.

— Ты девственница?

— Была. — Она улыбнулась еще шире.

— Как же ты испытала оргазм во время первого секса в своей жизни?

Джемма ответила:

— Неужели ты думаешь, что я в свои тридцать два года никогда не испытывала оргазма? Для этого не обязательно лишаться девственности.

Арам Назарян опять посмотрел на небо, на Гору и опять на Джемму.

— Выпьем кофе и поедем?

— Да. Только мне нужно отойти вон к тем кустам.

— Хорошо...

Арам открыл стаканчики с растворимым кофе и закурил новую сигарету. Когда Джемма вернулась, они поехали в деревню Аратавор.

«Пропади все пропадом, — думал Арам Назарян. — Все! Устал! Хочу расслабиться. Хочу отойти и немножко посмотреть со стороны. Хочу вывернуться

наизнанку и стать новым. Хочу не хотеть... Хочу ни от кого не зависеть. Хочу домик далеко в горах. Хочу жить с Мэри и все время видеть ее улыбку, когда она испытывает оргазм. Хочу к Мэри... А вместо этого ты лишил невинности Джемму и, мало того, едешь с ней на интервью! Но почему-то мы все время делаем то, чего не хотим. А ведь все это от лени. Вместо того чтоб потрудиться вернуть Мэрико, ты трахаешься с Джеммой. Только потому, что она оказывается рядом!»

По дороге АН время от времени гладил бедра Джеммы, от чего та начинала трепетать, или же останавливал машину, и они целовались. В деревню Аратавор они успели только к концу церемонии освящения новой церкви сурб Аствацацин* и поняли, что замминистра в бешенстве.

«Церковь сурб Аствацацин тут была и раньше, — написала Джемма в своем репортаже о событии. — Но когда в 1820 году построили водохранилище, деревню перенесли, и церковь XVII века оказалась под водой. У местных жителей есть поверье, что много лет после этого под водой светились ее камни. Однажды, рассказывают аратаворцы, пограничники увидели, что от воды исходит свет. Весть об этом быстро разлетелась по округе, и многие люди из деревни стали очевидцами чуда: из того места, где прежде находился алтарь, действительно исходил свет. Жители Аратавора решили по одному перенести камни храма в деревню, чтоб построить из них новую церковь. Но долгие десятилетия это невозможно было сделать. Наконец спустя почти целый век, уже в наши дни, всем известный меценат и депутат Национального собрания Славик Акопян, который, как мы знаем, родом из того же Аратавора, посчитал своей миссией возведение нового храма в родной деревне. Кстати, камни старого храма, заботливо сбереженные жителями приграничной деревни, и были использованы при строительстве. Сейчас церковь Святой Богоматери ничем почти не отличается от церкви XVII века. Нынешняя церковь чуть меньше старой, но аратаворцы уверены, что колокола ее будут звонить громче прежних. Таким образом, церковь, дарящая свет, получила вторую жизнь. Как отметил глава епархии епископ Микаел Паяджян, «сегодня село наполнилось новым духовным содержанием». Он призвал аратаворцев посещать церковь и молиться ежедневно...

Когда Арам Назарян и Джемма, которая все же не поехала обратно в Ереван в машине депутата-мецената, целовались позади новопостроенной церкви сурб Аствацацин, их увидел ынгнатор** Арташ, бывший жених Джеммы. Как и почему он оказался в тот день в деревне Аратавор, никто не знал.

Арташ был высокий, худой, рот искривлен в вечно язвительной улыбке, несмотря на седые волосы, ему было только тридцать три года. С четырнадцати лет у него стала проявляться болезнь, которую обычно называют божественной, то есть эпилепсия, и должно было пройти еще около пятнадцати лет, чтоб родители его поняли, что болезнь эту нельзя вылечить. С годами приступы становились все чаще и продолжительней, и родители Арташа боялись, что во время очередного приступа у их сына просто не выдержит сердце и он умрет. Так и жили, пока известный в округе хеким Чалик, знакомый отца Арташа, не сказал, что сына его может вылечить только женитьба.

— Если вы найдете такую девушку, которая согласится выйти за него замуж, ваш сын будет спасен.

С того самого дня мать и отец Арташа начали настоящую охоту за невестой для своего сына. Арташу же строго-настроено запретили кому бы то ни было рассказывать о своей болезни.

Найти для Арташа жену стало для родителей смыслом жизни, но они неизменно

* Святой Богородицы (арм.).

** Человек, у которого «падучая» (арм.).

терпели неудачу. Некоторых претенденток Арташ отвергал сам — слишком они были некрасивые!, некоторые в скором времени отказывались выходить за больного Арташа (кто-то что-то разнюхал, кто-то что-то услышал, кто-то кому-то что-то рассказал), и отец с матерью уже пришли в отчаяние, оставив всякую надежду увидеть когда-нибудь сына женатым, а значит, здоровым, но в одно прекрасное утро Арташ объявил родителям, что нашел себе невесту. Радости в доме не было границ. Все стали готовиться к встрече с будущей снохой и расспрашивали без конца о ней своего Арташа. Он отвечал, что ее зовут Джемма, она журналист, из хорошей семьи, отец, мол, бизнесмен, мать умерла...

В детстве у Арташа была забава: он заходил в подъезды соседних домов, прицелившись хорошенько, плевал в свисавшую с потолка, как правило, единственную лампочку и «взрывал» ее. Так он поступил и после первого свидания с Джеммой. Когда услышал, как Джемма вошла в квартиру и заперла дверь, он плюнул в лампочку в ее подъезде, и лампочка сразу перегорела. Арташ и Джемма стали встречаться почти каждый день, ходили в кино, гуляли, сидели в многочисленных ереванских кафе и в итоге решили пожениться, даже назначили дату, но, как уже было сказано, жених в последний момент пропал. Ни Джемма, ни ее отец (которого она все же пригласила на свадьбу), ни многочисленные родственники не знали, что в тот день, когда Арташ должен был покончить со своим холостяцким существованием, у него случился приступ. И он исчез на два года. И почему он оказался в тот январский день 2007-го в деревне Аратавор, никто не знал. Тем не менее он увидел, как Джемма целуется с руководителем одной из ереванских радиостанций Арамом Назаряном, и, казалось, после этого сошел с ума по-настоящему. Откуда-то достал номер джемминоного сотового, названивал ей по несколько раз в день, а в последнюю субботу января поздно вечером явился к ней домой, нашел Джемму и ее подругу Мэрико пьяными до чертиков и сразу же предложил своей бывшей невесте спровадить Мэрико.

- Кто она?
- Подруга.
- Кто она, я спрашиваю?!
- Внучка Ара Манояна.
- Вызови такси.

Когда Мэрико, которую с трудом удалось посадить в такси, наконец уехала, выгнав Арташ вместе с Джеммой вернулся в квартиру.

- Зачем ты столько пьешь? — спросил он.

Джемма, наливая себе очередную рюмку, ответила:

- Важно не то, сколько пью я, важно, сколько пьет эта сучка.
- Зачем тебе это?

И тогда Джемма стала кричать:

— Ты кто, ара? Откуда ты взялся опять на мою голову? Импотент хренов! Зачем ты пришел? Неужели, чтоб трахнуть меня? Ведь у тебя не получится! Никогда не получалось! Или ты, как прежде, хочешь сидеть и смотреть, как я мастурбирую?

— Нет,— спокойно ответил Арташ.— На этот раз я тебя возьму. Но только с одним условием. Ты должна быть очень пьяной.

И Арташ насильно стал вливать в горло Джеммы теплую водку. Все больше и больше. До тех пор, пока Джемма не потеряла сознание. Тогда Арташ встал, оглядел единственную комнату своей бывшей невесты и вышел из квартиры, громко хлопнув дверью. В подъезде он остановился на минуту, плюнул на лампочку, которая, конечно же, сразу перегорела, и вышел в ночь.

В правом кармане его кожаной куртки со смешным глупым меховым воротником лежала флешка, которую Арташ то и дело ощупывал потными

пальцами. На флешке были фотографии, которые он решил завтра же выслать анонимно одному высокопоставленному и влиятельному депутату, а также епископу Микаелу Паяджяну. На фотографиях был запечатлен руководитель радиостанции FM Арам Назарян, прижимающий молодую красивую женщину к задней стене новопостроенной церкви сурб Аствацацин. Фотографий было несколько. На одной молодая женщина подняла ногу в чулке и обвила ею бедро директора радиостанции. Отчетливо была видна граница резинки чулка и белая ягодица.

Джемме было тридцать два года, когда она умерла у себя в квартире, захлебнувшись во сне собственной рвотой. Никто не знает, сколько ударов делает сердце за всю жизнь человека. Никто никогда не может это подсчитать. Но там, наверху, на небесах, куда мы все отправимся после смерти, знали: сердце Джеммы Саркисян остановилось на 1177344975-м ударе.

Տէր, նորրութեւ՛ . Տէր, նորրութեւ՛ . Տէր, նորրութեւ՛ .

18

Мэрико не ошибалась: Гарик действительно нашел себе в Москве «блондинку с ножками от ушей», и ее звали Надя.

Надя и чах Гарик просыпались вместе в Надиной московской квартире, пили кофе в постели, завтракали, потом Надя уходила на работу, а он оставался один и мучился. Сидел час, другой за письменным столом — он говорил, что вот-вот сделает великое то ли изобретение, то ли открытие — потом вставал, начинал ходить из одного угла комнаты в другой. Много курил и упрекал Надю в том, что та оставляла его мучиться в одиночестве. Гарик, конечно, понимал, что она зарабатывает за них обоих, ведь он нигде не работал, но понимание этого не утешало, а скорее наоборот, заставляло мучиться еще больше.

Гарик о многом думал, когда оставался один. Например, что Надя немногим старше его дочери Мэрико и что это противоестественно, что она работает, а он лишь готовится сделать великое изобретение, что живет он в ее квартире, как в тюрьме: Надя запирала его на ключ и однажды, когда он попытался протестовать, вспылала:

— Я хочу, чтоб ты *делал* свое *изобретение*, а не шлялся где попало. Ты никуда не уйдешь, пока не закончишь со своим изобретением. Не забывай, что ты и твоя ереванская семья живете за мой счет!

И Гарик решил смириться. Ведь иначе ему пришлось бы уехать обратно в Ереван, а этого он не хотел больше всего на свете. Он с какой-то панической поспешностью всегда отгонял от себя мысли о Ереване, и особенно Дзорке, где родился и где все друг друга знали, поэтому там всегда было душно.

В Ереване у него была куча долгов, и он чуть было не наложил на себя руки. Кстати, он так никогда и не узнал, что однажды хотела совершить самоубийство и Маргарита, его жена.

Это случилось серым, бесцветным, зимним днем, никчемным, пустым, как две капли воды похожим на вчерашний, унылый и бездушный. Хоть кричи, хоть вой. Маргарита в грязном цветастом халате с заплатами сидела на кухне, тупо глядела прямо перед собой и курила сигарету за сигаретой. Муж, Гарик, школьный учитель математики (шел уже январь 2004 года), был на работе; дочка Мэрико гуляла с друзьями. Пепельница была наполнена до краев. Непотушенные окурки еще дымилась, а Маргарита уже прикуривала новую сигарету, но и эту она, не докурив до конца, быстро прижала двумя пальцами ко дну сине-красной глиняной пепельницы. Потом встала, повернула ручку газовой плиты, открыла духовку и опустилась перед ней на колени. Больше всего в тот день Маргарите хотелось умереть. Сдохнуть...

Звонок в дверь заставил ее открыть глаза. Мысль начала лихорадочно работать: Гарик? Дочь? Но они не должны были вернуться так рано. Соседка? Значит, не надо открывать. Но кто-то с назойливой настойчивостью продолжал жать на кнопку звонка. И вдруг женщина заплакала, и плач ее постепенно стал похожим на вой... Приговаривая: «Господи! Господи!», она встала, выключила газ и пошла в коридор открывать дверь.

Паренек в солдатской форме, которая ему была явно велика, худой, длинный, как жердь, стоял на пороге и мял в руке свое солдатское кепи. Когда Маргарита открыла дверь, он покраснел, сконфузился, закашлялся, захлопал ресницами больших, как блюдца, карих глаз.

— Простите... Это... Здравствуйте... Извините, Сашик здесь живет?

— Нет. У нас никакой Сашик не живет. Вы ошиблись,— ответила Маргарита, дочь великого писателя Ара Манояна, испугав паренька неожиданно низким тембром голоса.

Паренек еще больше ступешался, еще больше покраснел и, заикаясь, сказал:

— Мне сказали, что именно здесь проживает Сашик. Он в увольнение ушел два дня назад, и я пришел навестить его. У вас есть сын, который служит?

— Нет у нас никакого Сашика! — Марго начала нервничать, потому что молодой солдат разглядывал ее растрепанные волосы и заплатки на халате.— У меня дочь. Может, вы ошиблись подъездом? Это часто бывает. Наш и соседний подъезды обычно путают. У нас он номер первый, а соседний — первый дробь два.

— Может, я и ошибся,— сказал солдат и опустил голову. Маргарита терпеливо ждала, когда же он уйдет, чтобы закрыть дверь — она не решалась хлопнуть ею перед носом молодого человека,— но уже начинала терять терпение. И вдруг увидела на его глазах слезы. Глухим от слез голосом парень сказал:

— Тетя-джан, извините меня, пожалуйста, дайте мне кусочек хлеба. Я очень-очень голоден. У меня никого в Ереване нет... Дядя с женой уехали. Вероятно, в Цахкадзор... но я туда не доберусь... Больше никого нет. Вообще нет...

— Господи!

Маргарита бросилась обратно в кухню, по дороге соображая, что же дать этому пареньку, и вспомнила, что, как назло, дома почти ничего нет. Она взяла полбуханки из хлебницы, из холодильника — огрызок сыра и куриное яйцо, не съеденное утром Мэрико, положила хлеб, сыр, яйцо да еще конфетку, найденную случайно в кармане халата, в целлофановый пакет и побежала к пареньку. Тот стоял по-прежнему на пороге и вытирал нос рукавом шинели.

— На, возьми, тга-джан,— сказала Маргарита Маноян и сунула ему в руки пакет.— Ничего больше нет. Это все что было. Бери же...

— Спасибо... Спасибо, тетя-джан! Я вас не забуду! Никогда...— И обнимая пакет, стал спускаться по лестнице, продолжая благодарить Маргариту. Потом остановился, повернулся и посмотрел вверх.— Как вас зовут? Я хочу знать. Я буду молиться. Я в армии научился молиться. Как вас зовут?

— Маргарита... Маргарита Маноян.

— Вы?..

— Да, я дочь Ара Манояна. Вы любите читать книжки?

— Судьба! Спасибо! Прощайте!

— Мальчик! Эй, тга-джан! Тебя-то как зовут? Я тоже буду молиться о тебе.

— Липарит. Липо. Липарит Овсепян. Прощайте!

Маргарита закрыла дверь и вернулась в кухню. Она посмотрела на часы. До возвращения Гарика и дочери оставалось меньше двух часов. Она подумала, что нужно что-то приготовить на ужин. И надо было действительно придумать, что приготовить на ужин, но вместо этого взяла телефон (тогда, в 2004-м, у Маргариты Маноян еще не было сотового) и позвонила.

— Привет. Это я. Узнал? Ты меня помнишь? Ты все еще один? Ты все еще любишь меня? Ты живешь там же? Ты дома? Я сейчас к тебе приеду...

Маргарите помешал покончить с собой солдат срочной службы Липарит Овсепян. Гарик же, вместо того чтобы действительно совершить самоубийство, занял деньги у своего школьного друга Мхо и сбежал в Москву, где и познакомился у общих знакомых с Надей. Она и погасила в течение месяца все его долги. В Москве ему, собственно, некуда было идти, негде жить, и он остался у Нади, став ее любовником. В постели Надя была опытной, ненасытной, о чем Гарик, кстати, всегда мечтал. У нее была гладкая кожа изумительной белизны, стройные ноги и красивая грудь («как виноградины», — любил он повторять, на что Надя, хохоча, всегда отвечала: «Где ты видел виноградину такого размера?!»). Ему нравилась ее ненасытность и осознание того, что этот вулкан, который спал много лет, — Надя развелась за пять лет до того, и у нее до Гарика никого не было — разбудил именно он. Об этом Гарик тоже думал, когда оставался один в Надиной квартире и ходил из одного угла комнаты в другой. И еще он часто вспоминал свою первую встречу с ней у общих знакомых и думал, что ее в тот день на эту вечеринку послал сам Бог. И Великое Изобретение через Надю ему заказал тоже именно Он. Вся прошлая жизнь казалась теперь Гарикуну настоящей, каким-то странным, нехорошим, необъяснимым сном. Маргарита, Мэрико, друзья, коллеги, враги — все теперь виделось сквозь туман, и Гарик даже спрашивал себя порой: «Неужели это все было со мною?»

Настоящими теперь были лишь Надя и Изобретение, которого еще не существовало.

В тот день — тот же седьмой год это был, только уже лето — Гарик написал Маргарите в скайп о том, что больше не вернется в Ереван, что просит у нее развода.

Гарик Гарибян: Я встретил другую женщину. Мы любим друг друга. А у тебя есть кто-то?

Маргарита Маноян: J J Как же Мэрико была права!))) Знаешь, Гарик, в нынешней ситуации это неважно. И не твое дело. Но раз уж ты спросил, то отвечу: я встречаюсь время от времени с одним человеком. Кстати, не забывай, что тебе уже пятьдесят. Ты там поосторожней. Ну, сердце, понимаешь ли, и так далее...

Гарик Гарибян: Ты с этим человеком познакомилась еще тогда, когда я был в Карабахе? На войне?

Маргарита Маноян: Откуда ты знаешь?!

И тогда он выключил скайп.

Гарик даже удивился: он ничего не почувствовал, узнав, что у Маргариты кто-то есть. Хотя нет, почувствовал: какое-то поразительно радостное чувство свободы. Не то чтобы он особо терзался, живя с любовницей в Москве, но какое-то темное пятно, пятнышко все же лежало на сердце. А вот теперь этого пятнышка не стало, и Гарик почувствовал себя окончательно освободившимся. Свое же Великое открытие Гарик все-таки сделал. И случилось это в марте 2008-го. После известий о крупнейшем с 1994 года столкновении между азербайджанской армией и Армией обороны Нагорно-Карабахской Республики. Суть открытия состояла в том, чтоб использовать сим-карты телефонов для летательных аппаратов, которые можно было бы использовать, скажем, в разведывательных целях. Аппарат свой Гарик назвал телекоптер. Когда он научился включать с помощью одного телефона другой, все как-то само собой срослось и получилось. Осталось лишь завершить чертежи самого аппарата. Это был великий день! Идею телекоптера Гарик решил подарить родной Армении, о чем и сообщил Наде в тот же день.

Надя? Что Надя? Она продала все, что имела в Москве, в том числе свой бизнес и квартиру, решив переехать вместе со своим мужчиной в Ереван и открыть винный ресторанчик.

— Да-да! Ты увидишь, как все будет замечательно! — уговаривала она Гарика, который все же был против окончательного переезда на родину. Но Надя убедила его. И они переехали. И Надя открыла-таки ресторанчик на улице Республики в Ереване. А Гарик с того самого дня начал обивать пороги соответствующих структур, предлагая, объясняя и расхваливая преимущества своего изобретения. Влюбленный в свое открытие, Гарик Гарибян просто не мог понять, как кто-то может не оценить его телекоптер. Но старания Гарика оказались напрасны. Его изобретение не было нужно никому. Когда понял это, он сделался угрюмым и совсем нелюдимым, то и дело приходил в ресторан своей подруги на улице Республики в Ереване, брал бокал вина, садился в углу за маленьким столиком, ждал, когда далеко за полночь Надя освободится, и вместе с ней уходил домой. Гарик Гарибян не общался ни со своей женой Маргаритой, ни с дочерью Мэрико, а когда узнал из СМИ, что во время апрельской войны 2016 года со стороны Азербайджана использовались беспилотники, то и вовсе зачах.

Но это все будет потом. А пока...

Пока, в Москве, Надя возвращалась с работы, спрашивала, получилось ли у Гарика что-нибудь, писал ли он свои бесконечные формулы и задачки? И когда Гарик отвечал: «опять ничего», целовала его и утешала:

— Ничего. Завтра получится, милый. Ты просто силы аккумулируешь.

И тогда Гарик чувствовал нечто очень похожее на счастье — благодарность. Мы счастливы бываем, когда чувствуем благодарность без всяких предварительных условий, не так ли?

19

В последний осенний день 2007 года Тигран Гаспарян думал: «Мы счастливы бываем, когда чувствуем благодарность без всяких предварительных условий, не так ли?..»

Тигран Гаспарян, проще говоря *Тигго*, — худой, длинный, с огромным носом, еще больше постаревший за последние года два, — мчался на скоростном поезде в сторону Амстердама и думал, криво сам себе улыбаясь: «Из пункта А в пункт Б выехал поезд».

Тигран Гаспарян посмотрел в окно. Небо было серым, поля заснежены. Вороны, важно сидевшие на электрических проводах, время от времени лениво перелетали с места на место и наверняка отвратно каркали. Впрочем, этого Тигран Гаспарян, которого поезд увозил из Меннау в Амстердам, слышать, конечно же, не мог. Был холодный ноябрьский день. За окном мелькали сначала немецкие города, а потом, когда начало темнеть, города голландские, и все это действительно было похоже на задачу по арифметике, какую решали в детстве: «Из пункта А в пункт Б выехал поезд...» Только вот теперь, во взрослой жизни, было слишком много неизвестных. Например, с какого перепугу (повесть Камю, песня Брежнев?), никому ничего не сказав, купил он билет и помчался в Амстердам? Ведь взрослый человек, за пятьдесят! Просто вздумалось? Просто захотелось? Просто потянуло?

Тигран Гаспарян опять посмотрел в окно: серое небо, заснеженные поля, вороны, время от времени перелетающие с места на место... Ему было холодно и как-то муторно на душе. И все оттого, что выпил перед отправлением поезда три кружки долбаного немецкого пива: от пива всегда остается горечь. Теперь он надел наушники, подключенные к флеш-карте, спрятал руки в карманы куртки, закрыл глаза и начал слушать Баха. Когда тебе муторно и ты ничего не можешь поделать, лучше всего слушать Баха: вознося до небес, Бах одновременно учит смирению. Но

потом он неожиданно выключил Баха и включил Комитаса*. Это была молитва «Տէր, սիրովսի՛»**. Интересно, мысленно отметил Тигран, я ведь только что слушал арию из «Страстей по Матфею» “Erbarme dich, mein Gott”***. Какое совпадение. Так всегда бывает: когда что-то изучаешь, углубляешься в какую-то тему или когда кого-то любишь, все вокруг начинает напоминать тебе об этой теме или об этом человеке, подавать знаки, подсказывать — прямо или косвенно. Читаешь, скажем, о ком-нибудь, и вдруг с удивлением слышишь из соседней комнаты, что по телевизору идет передача о нем же. Или вспоминаешь о ком-то, и вдруг этот кто-то звонит. Когда долго думаешь о каком-то человеке, ты его начинаешь чувствовать, угадываешь, что он сейчас делает, о чем размышляет, начинаешь мысленно его «осязать». Просто ты вводишь себя в его КРУГ.

Տէր, սիրովսի՛.

В 2007 году Тигран, основавший до того в Армении одну из первых IT-компаний, уехал по контракту в немецкий Дуйсбург в качестве Gastprofessor****. Теперь он не знал, вернется ли когда-нибудь на родину. Сыновья учились в немецких университетах, в Армении у него не осталось близких и родных — все разъехались кто куда, и единственным человеком, по которому скучал Тигран, был писатель Ваге Саакян. В 2009 году Тигран продаст свою компанию. В 2009 году Тигран продаст свою квартиру в Ереване, на Проспекте. В 2009 году Тигран Гаспарян уже точно будет знать, что больше никогда не вернется в Армению. Спустя же еще пять лет Тигран переедет в США, начнет работать в компании Google и не будет больше вспоминать ни о немецком городе Дуйсбург, ни о Меннау.

Да-да! В жизни каждого человека, наверное, случается свой Меннау.

Просто так получилось, что в Меннау год назад проходила конференция по киберзащите, и кафедра Дуйсбургского университета делегировала на нее Тиграна Гаспаряна.

На второй день конференции, после удачного доклада, весьма довольный собой, он сидел в кафе на площади перед отелем, пил кофе и читал газеты. Уже на этот второй день он ощущал острую тоску по жене, и поэтому интервалы между эсэмэсками ей сокращались, все больше приобретая характер порнографического рассказа. Технарь и прагматик, Тигран Гаспарян, к своему величайшему удивлению, открыл для себя, что слова могут возбудить, завести ничуть не меньше самого откровенного фильма, которые он в огромном количестве скачивал из Сети («Здесь, в Германии, сверхскоростной Интернет, не то что в Армении!») и смотрел вместе с женой почти каждый вечер.

Вот в этот второй день конференции, когда он пил кофе на площади перед отелем, к нему и подошла женщина, которая почему-то с первого взгляда не понравилась ему. Она была в джинсах, кожаной куртке, на вид ей было тридцать — тридцать пять, и у нее были пепельные волосы. Женщина оказалась участницей той

* Комитас (настоящее имя Согомон Геворки Согомонян, 1869–1935) — армянский композитор, музыковед, фольклорист, певец и хоровой дирижер... В апреле 1915 года в Турции вместе с целым рядом выдающихся армянских писателей, публицистов, врачей, юристов был арестован и Комитас. Пережитый кошмар оставил глубокий, неизгладимый отпечаток в его душе. Комитас уединился от внешнего мира, укрылся в своих мрачных и тяжелых думах — сломленный и печальный. Гений армянской музыки нашел свое последнее пристанище под Парижем, в лечебнице городка Вильжюиф, проведя там почти 20 лет.

** Тэр, вогормя — Господи, помилуй (*арм.*) — сочиненная в народной среде еще в XIII веке песня-молитва. В XVIII веке была включена в Святую Литургию католикосом Симеоном Ереванци, сделавшим текстовые добавления и редакции.

*** Помилуй, мой Бог (*нем.*).

**** Приглашенный профессор (*нем.*).

же конференции. Разговорились. Вместе выпили кофе, потом съели мороженое, прогулялись по Меннау, он проводил ее до дверей номера в отеле и остался у нее на ночь.

Вот таким образом в его жизни появился город Меннау.

Вот таким образом в его жизни появилась Дайан Элинек.

С женой, Аэлитой, у него были прекрасные отношения. Они любили друг друга, их, хоть они были женаты уже двадцать лет, до сих пор тянуло друг к другу, и физическая близость отнюдь не была для них редкостью. Когда ты женат так долго, был уверен Тигран, взаимоотношения перерастают совсем в другое качество: это и любовь в узком смысле (придумал тоже: «любовь в узком смысле!»), и дружба, и какое-то партнерство, абсолютное понимание, порой без слов, и полное духовное слияние. Супруги даже начинают походить друг на друга внешне, двадцать лет брака позволяют сказать, что они «росли» вместе, и под этим подразумеваются общие победы, достижения, иногда и поражения. Самыми большими своими достижениями Тигран и Аэлита считали, конечно же, сыновей, которыми очень гордились.

Тигран всегда думал: «У меня с женой все хорошо, и всегда было хорошо... Мы даже не ссорились по-настоящему никогда...» Но вот так получилось, что у него в жизни появился город Меннау. Маленький такой провинциальный городок в Северной Рейн-Вестфалии, куда он однажды поехал на конференцию. Наверное, у всякого в жизни случается свой Меннау.

Чаще всего Тигран видел Дайан Элинек в джинсах, полусапожках, свитере — зимой, весной и осенью; летом же она была в одном и том же платье выше колен, с большими деревянными пуговицами, которые ему нравилось трогать. Она была небольшого роста, сероокая... Однажды она ему сказала, что, когда плачет, ее глаза становятся зелеными, но Тигран никогда не видел ее плачущей. Он также никогда не видел ее смеющейся. Она была как-то постоянно спокойна, слегка иронична, но всегда нежна и приветлива. Только чувствовалось, что, когда они расставались, ей становилось немного грустно. И так каждый раз: они выходили из отеля, пешком направлялись к автобусной остановке, и он видел, что Дайан грустно. Она уезжала в Дюссельдорф, Тигран на своем BMW возвращался «домой» в Дуйсбург.

У обоих были свои города, своя работа, свои семьи, одним словом, своя жизнь, и они в своих других жизнях никогда не пересекались, да и не могли пересечься. Сюда же, в Меннау, приезжали раз в две недели, снимали номер в отеле на ночь, а на следующее утро разъезжались. Они сами затруднились бы ответить на вопрос, что происходит между ними. То ли любовь, то ли что-то другое. Одно лишь понимали точно: они с нетерпением ждали этих встреч, мечтали о них, радовались им, все больше и больше нуждаясь друг в друге.

Тигран ничего не знал о ней, как и Дайан — о нем, и, казалось, это устраивало обоих. Они никогда ничего не спрашивали друг о друге не потому, что так договорились, а просто им это не было нужно: ведь это были их параллельные миры, а параллельные миры, как и прямые линии, никогда не пересекаются. Они даже не знали номеров телефона друг друга, и о встречах никогда не договаривались. Так повелось после второго их свидания, когда они, каждый сам по себе, поехали в Меннау и столкнулись в кафе перед тем же отелем, где Дайан впервые села за его столик. Они просто встречались раз в две недели, и большего, как однажды сказала Дайан, им не было нужно. И еще: ни Тигран Гаспарян, ни Дайан Элинек никогда не говорили друг другу: «Я люблю тебя».

— Давай решим, — сказала она, — что это для нас только секс и ничего больше. Разрядка, так сказать. Отдохновение от обыденной жизни. Так, по крайней мере, потом не будет больно.

Тигран согласился. Дайан была права. Хотя оба, вероятно, понимали, что это

самообман. В том, насколько это самообман, Тигран убедился уже через год, в тот холодный ноябрьский день.

— Уже полпервого. Нужно вставать.

— Действительно,— согласился он, посмотрев на часы.

— Пора собираться,— вздохнула Дайан, но продолжала лежать, поглаживая его руку, которой он обнимал ее, они так и заснули, обнявшись.— Кто из нас закажет кофе?

— Ты.— Тигран улыбнулся.

— Болтун! Ничего с тобой не случится, если на этот раз кофе закажешь ты!

— Тебе же проще! Ведь у меня армянский акцент, помнишь?

— У нас в Германии, если ты этого еще не усвоил, никто уже не обращает внимания на акценты.

— Закажи ты, Дайан. В последний раз.

— Болтун!

Она встала и, голая, на цыпочках (прав был Леонардо да Винчи: все же женщины генетически предрасположены носить каблуки!), пошла к телефону. Тигран смотрел на нее. Как всегда после секса, у него было странное чувство, что они знакомы всю жизнь и всегда были вместе.

— Кстати, о последнем разе,— сказала Дайан Элинек, поговорив с портье и возвращаясь в постель.— Мы больше не сможем встречаться. Я получила работу в IBM. Мы с семьей переезжаем в Прагу.

— Ну и что? — Тигран почувствовал, как у него немеют губы. Так бывает, когда чего-то очень испугаешься.— Всего лишь дольше ехать. Это же Европа. Здесь, как и в Армении, все очень близко.

— Ты не понял, Дихран (она почему-то называла его Dignan'ом). То, что я переезжаю в Прагу, означает, что мы *действительно* больше не будем встречаться. Видишь ли, я когда-то жила месяц в Праге. Меня пригласили в качестве специалиста по защите сетей. У меня был там любовник. Кстати, немец. Я написала ему. Мы снова будем вместе. Он не женат.

— Но ты замужем!

— Почему-то тебя это обстоятельство до сих пор не смущало, милый...

Проводив Дайан до автобусной остановки, Тигран не пошел обратно к гостинице за своим BMW, а купил железнодорожный билет до Амстердама. Зачем? Он бы и сам не мог ответить на этот вопрос. Одно он знал точно: ему не хотелось возвращаться в Дуйсбург, и он выключил телефон, чтоб не получать эсэмэски от Аэлиты. Новость о том, что он больше не увидит Дайан Элинек, его выбила из колеи. «Кто бы мог подумать!» — удивлялся Тигран Гаспарян в тот холодный последний день осени 2007-го, глядя в окно поезда, увозившего его из Меннау в Амстердам, на серое небо, заснеженные поля, на ворон, сидевших на электрических проводах и время от времени лениво перелетавших с места на место.

Տէր, յղորդու՛մ .

20

В тот последний осенний день 2007 года, когда встретились, чтоб похоронить свою любовь, Ваге Саакян и Лилит, дождь перестал, неожиданно выглянуло солнце, и листья на деревьях вспыхнули красно-желтым пожаром. Но огонь этот не обжег душу и не растопил сердце, и было чувство, что тело остывает. Опять.

Они зашли в «Gusto» на улице Абовяна в Ереване. Подошедшему улыбавшемуся официанту в черном фирменном фартуке заказали два кофе и пирожное.

— А я вас помню,— сказал тот, забирая меню.— В последний раз вы заказывали свиной эскалоп под лимонным соусом с картошкой фри.

— Это было давно! Полгода назад! — рассмеялась Лилит.

— И давно неправда,— добавил без улыбки уже давно не молодой мужчина, похожий на старика.

Официант ушел. И тогда мужчина заметил, что глаза женщины стали совсем другими, чем полгода назад. Они сделались равнодушными. В них не было больше любви.

— Ты мне нужна,— вдруг сказал Ваге Саакян.

— Вам и так хорошо. Вам ничего не нужно,— рассмеялась Лилит, покачав головой.

— Неправда! Мне нужна ты!

— Не нужна. У вас и так все есть. Семья. Сын. Это у меня ничего нет. У меня нет даже подруг и друзей. Я их потеряла с тех пор, как стала вашей любовницей. Пять лет тому назад. Мои сверстники отвернулись от меня.

После этих слов он почувствовал себя очень старым.

Ваге Саакян всегда думал, что Лилит его мучает, выворачивает наизнанку, выжимает до последней капли. Она много раз просила оставить ее в покое, но он не мог, чувствуя ее взаимность. И еще боялся, что она с собой что-то сделает. Он много раз слышал от нее о самоубийстве и холодел от мысли, что Лилит на него решится. Это мучило, убивало его.

Встречались они по понятным причинам редко. «Делали секс», и он думал, что все не так уж плохо, но потом получал от нее эсэмэс, в котором она писала, что им надо расстаться. Связь Ваге Саакяна и Лилит длилась пять лет, и за это время она ни разу не сказала, что любит его. Каждый раз после близости она замыкалась в себе и переставала с ним общаться. Со временем все восстанавливалось, и по мере того как начинала тосковать по нему, Лилит становилась добрее и ласковее. Так до очередной встречи, после которой опять все рушилось. Он чувствовал себя неутомимым Сизифом, снова и снова поднимающим камень в гору.

В последний раз о самоубийстве он услышал от нее за полгода до этой встречи — летом. Он пришел в гости к своему другу Тиграну Гаспаряну, и они решили выпить. Без повода. Тигран — худой, длинный, постаревший, с огромным носом — с каким-то особым упрямством разливал теплую тутовку по рюмкам, и они с таким же ослиным упрямством выпивали. И тогда он получил от Лилит эсэмэс: «Только что спустилась с крыши... Опять ничего не получилось. Ненавижу себя за трусость... Как ты?»

Ваге Саакян ответил: «Что же ты со мной делаешь, сука?!» У него дрожали руки, и Тигран спросил:

— Тебе нехорошо? Ты весь побелел. Что-то стряслось?

— Ничего.

— Плохие новости?

— Хорошие.— И они выпили еще по рюмке.

Было очень-очень жарко, и они сидели в одних трусах, по-холостяцки (Аэлита, жена Тиграна, с сыновьями уехали на две недели в Веревунк, к родителям, повидаться перед переездом в Германию). Ваге Саакян все время потел — то ли от жары, то ли от теплой водки, и ему было неудобно смотреть на седую грудь Тиграна.

Тиграну почему-то всегда не нравилась Лилит.

— Брось ее. Она всегда будет тебя угнетать,— говорил Тигран своему другу.

Но тот не мог. Никогда не мог. Смогла она — в тот последний осенний день 2007 года.

У Лилит были черные волосы, которые курчавились от дождя, темно-карие глаза и полные губы. Она была невысокого роста, но при ее походке это не сразу бросалось в глаза — она ходила величаво, не спеша, в ней были какая-то особая утонченность и особый аристократизм.

Лилит не могла поверить, что Ваге ее любит, и сама никогда не говорила ему, что любит его. И не смела обращаться к нему на «ты», а он мучился. Но это было потом, а пока...

Пока, 1 августа 2003 года, небо было чистое, ясное, без единого облачка. Солнце, казалось, задалось целью спалить город, улицы, деревья и людей; расплавить асфальт, растопить всю Землю. Так было каждый день: очень жарко и душно, но уже к полудню начинал дуть южный ветер, собирались черные тучи, и вечером разражалась гроза. Почти каждый вечер. Гроза продолжалась всю ночь. А утром — снова изумительно ясное синее небо без единого облачка.

Первого августа Ваге Саакян впервые увидел Лилит Карапетян. В кафе «Уют», в самом центре Еревана.

В «Уюте» — то ли забегаловке, то ли кафе — действительно было очень уютно и вкусно кормили, а кроме того, тут можно было просто посидеть и выпить холодного разливного пива. А еще здесь каждый мог написать на стене какое-нибудь пожелание, послание или даже стихотворение. Писали на самых разных языках мира, и никто не знал, от кого пошла эта традиция; теперь многим казалось, что так было всегда.

Хозяйка кафе не запрещала посетителям расписывать стены, хотя ничего не понимала в поэзии. Просто каким-то особым чутьем делового человека чувствовала, наверное, что надписи эти в немалой степени привлекают посетителей (однажды даже позвонили и попросили подсказать адрес кафе, «где на стенах пишут стихи»). Совсем рядом с этим кафе был расположен цветочный магазин, где делали похоронные венки, и это являлось предметом острот для посетителей кафе.

Хозяйку заведения — очень толстую женщину лет под шестьдесят — звали «тетя Нора». Она уже три года как была вдовой и уже пять лет водила миниатюрный «рено», который кряхтел и стонал под тяжестью своей хозяйки. Те, кто знал Нору, посмеиваясь, говорили, что ей надо срочно похудеть или сменить машину. Нора никогда не рассказывала, почему дала своему кафе такое название. У Норы не было детей.

В кафе «Уют» работали тогда только одна официантка, которую звали Анжелика, и одна повараха с сыном. Анжелике было двадцать восемь лет. Ухажеров она не имела, была худая, некрасивая, но с какой-то обаятельной и доброй улыбкой. Завсегдатаи называли ее «ахпер Анжик»^{*}, но Анжелика не обижалась, хотя и нельзя сказать, что это ей нравилось. Не нравилось Анжелике еще и то, что «тетя Нора» все время ей втолковывала:

— Присматривайся к клиентам, может, и подцепишь кого-нибудь.

Анжелика всегда на это отвечала:

— Да ладно тебе, тетя Нора, перестань.

И Нора тогда бормотала себе под нос:

— Вот дурочка-то. Молодая ж пока... потом поздно будет!

Нора знала, что Анжелике нравится сын поварахи. Тому было под тридцать, и его звали Давид. В кафе «Уют» он разделывал мясо, менял диски в магнитофоне, готовил шашлык, кебаб, шаурму — и все это один. Мать его, женщина шестидесяти пяти лет, которая все время молчала и у которой на ногах некрасиво вздулись вены, пекла булочки, пирожки, пирожные и лагмаджо.

Столики в кафе, покрытые скатертями в сине- или красно-белую клетку, были маленькие, деревянные, квадратные, с резными ножками. На каждом стояли лампа с розовым абажуром, черная пепельница и металлическая салфеточница. Столики были сдвинуты к стенам, центр зала оставался свободен.

^{*} Братец Анжик (арм.).

Даже не выпив утренний кофе, Ваге Саакян собрал портфель, сунул в карман сигареты и вышел из дому. Он спустился по Проспекту вниз, завернул в сквер перед Консерваторией, сделал круг и направился в сторону кафе «Уют». Сказав жене своей Тагуи, что идет в редакцию журнала, он оставался там до шести часов вечера. На самом деле сорокашестилетний писатель сбежал в кафе «Уют», чтобы писать роман (естественно, гениальный).

Тем утром Ваге Саакян поздоровался с Давидом, который стоял у входа в «Уют» и курил. Потом прошел внутрь заведения и сел за свой любимый столик. Пока он доставал из сумки папку с бумагами, к нему подошла «ахпер Анжик». В тот день она показалась ему особенно некрасивой. Он заказал кофе и булочку.

Анжелика мрачно ушла за стойку и почти сразу же вернулась с чашечкой кофе и горячей булочкой на тарелке. Ваге Саакян тут же сделал два-три глотка, съел почти всю булочку и подумал о матери Давида, поварихе. У нее было варикозное расширение вен и, наверное, ноги очень болели; но ей весь день приходилось стоять у плиты.

Из будущей книги было написано уже двадцать пять страниц, но он по-прежнему не знал, о чем она будет. Ваге Саакян опять, как и всегда, решил для себя: писать только о том, что он знал досконально, и о том, что любил. В конце концов, какая разница? Не получится роман — получится рассказ. И то хорошо. На рассказах, конечно, не разбогатеешь... Пока что в его *писанине* ничего не происходило. Не было даже героев и вообще персонажей. Был просто город. Город, куда он любил уезжать с родителями в детстве и о котором мечтал теперь, зная, что больше никогда не удастся поехать туда снова. Он подумал об этом теперь, и ему стало тоскливо. Он вдруг понял, что город этот (не тот, что был в детстве, а этот, в котором он прожил сорок шесть лет и который теперь *варился* под солнцем) — его тюрьма, и он из нее никогда и никуда не вырвется. Больше никогда!

— Анжелика, принеси мне, пожалуйста, еще кофе. Что-то сегодня не пишется.

— Вы думаете, кофе поможет?

— Бальзаку помогал... Что ты смеешься, Давид?

— Ты разве Бальзак, дядь Ваге?

— Нет... И прекрати меня называть дядей.

— Я принесу вам еще кофе,— сказала Анжелика.— Только перестаньте столько курить. Это вредно.

— Хорошо, Анжелика.

И вот тогда в кафе вошла девушка. У нее были короткая стрижка, короткая майка, короткая юбка и маленький рюкзачок. Пальцы унизаны колечками, кисти — в браслетах, шея — в цепочках и кулонах. Одетой, как тинэйджер, девушке тем не менее был двадцать один год. И у нее были большие карие глаза.

Войдя в кафе, она посмотрела на стены, расписанные стихами, и расхохоталась:

— Аствац им! Вот стихи Аполлинера, вот Верлен, Бодлер, Хаям... Севак, Шираз, Терьян. Это поразительно! Вы работаете в этом кафе? Чья идея писать на стенах стихи?!

— Нет, я не работаю в этом кафе. Можно сказать, что я вообще не работаю. Пишу для литературного журнала. Я писатель,— ответил Ваге Саакян.

— Вы пишете книгу?

— Хочу написать хороший роман.

— Вот мне повезло! О чем будет роман?

— Не знаю... А вы кто?

— Меня зовут Лилит. Так вы писатель?

— Говорят. У меня даже удостоверение есть. Почему вы смеетесь?

— Ничего, не обращайтесь внимания. Просто я знаю, кто вы. Вы — Ваге Саакян.

- А вас как зовут?
- Я же сказала: Лилит.
- И что же вы хотите от меня, Лилит?
- Чтоб вы написали книгу. Обо мне. Вы испугались?
- Нет... Я вас не знаю совсем.
- И не узнаете никогда.
- Что?
- Простите, что я вам помешала. Я сейчас же уйду. Можете выпить мой кофе. Я не притронулась...
- Почему вы уходите?
- Прощайте!

21

Через два дня она вошла в редакцию новооткрывшегося литературного журнала и улыбнулась. Поздоровалась с его друзьями, с которыми он что-то обсуждал. Сурен Багдасар, главный редактор, представил ее:

— Наша молодая сотрудница. Лилит. Умница и красавица. Совсем недавно начала работать у нас.

И Лилит снова улыбнулась. Ее улыбка показалась Ваге Саакяну, как и два дня назад, необычной, не такой, какие он видел на лицах девушек, умеющих улыбаться.

Через день он снова пришел в редакцию в здании Союза писателей на проспекте Баграмяна. Девушка с мистическим именем Лилит* была одна.

- Все ушли на похороны, — сказала она.
- А я оттуда сбежал. Там очень много стариков.
- Вы же тоже почти старик.
- Да мне еще и пятидесяти нет! Всего сорок шесть! — рассмеялся Ваге Саакян.
- Хотите кофе? — спросила Лилит. — Вы подождете парона Багдасара?
- Сурен Багдасар. Звучный псевдоним придумал себе твой шеф. А ведь совсем еще недавно был Айказом Суреновичем Багдасаряном. Нет, не буду его ждать. Он и не скоро вернется с похорон и поминок. Если вообще вернется. Его, как всегда, выберут тамадой, и он наклюкается, как последняя свинья. От кофе не откажусь.

Лилит стала варить кофе в электрической кофеварке, которая почему-то потрескивала, предвещая, очевидно, свою скорую смерть.

— Надо сказать нашему с тобой общему шефу, чтоб купил новую кофеварку, — сказал Ваге. — Эта скоро сломается. Говорят, они взрываются прямо в руке.

— Скажите, пожалуйста, честно. Вы пришли из-за меня? — спросила вдруг Лилит, прервав его.

— Да...

— Я так и подумала, — развеселилась Лилит. — Но зачем?

Он ответил:

— Мне трудно сейчас внятно сформулировать причину, но я именно пришел, чтоб увидеть вас, то есть тебя. Ты мне очень понравилась.

— Но вы же видите меня всего третий раз в жизни. Вы в меня влюбились? — спросила Лилит простодушно и вдруг стала кричать: — Я вам не верю! И вы нехороший! Вы лжете! Зачем я вам? У вас жена! И репутация ваша всем известна! Меня тошнит от вас!

— Какая репутация?

— Писателя-повесы. Дон Жуана. И что вы любите женщин намного младше себя...

* Лилит — первая жена Адама в каббалистической теории. Упоминается в некоторых ранних апокрифах христианства, не вошедших в библейский канон.

Ваге Саакян оцепенел. Минуты две сидел, как кипятком ошпаренный, потом закурил. Лилит разлила по треснутым чашкам кофе, села по другую сторону журнального столика в кабинете Сурена Багдасара и тоже закурила.

— Оставьте меня в покое, пожалуйста,— сказала она тихо.— Все равно вы никогда не будете моим.

— Но почему?! И что за вспышка только что была?

— Вы женаты... Слышите? **ВЫ НИКОГДА НЕ БУДЕТЕ МОИМ!**

— Никогда бы не подумал, что ты куришь.

И тогда Лилит заплакала. А потом так же неожиданно заулыбалась:

— Я не такая уж и маленькая. Я намного старше, чем вы можете предположить.

Мне двадцать один год.

— Хорошо, что не сказала «я намного старше, чем вы любите». С учетом моей репутации, как ты выразилась. Спасибо!

Лилит рассмеялась.

— Сурен Багдасар говорит, что вы гений. Это правда?

— Ну, может, Сурен Багдасар — дурак, откуда нам знать? — попытался пококотничать Ваге Саакян.

— Конечно, дурак,— согласилась Лилит.— Но в этом он прав. Вы — гений.

— Так ты читала мои книги?

— Неужели вы думаете, что в Армении есть кто-то (пускай даже только среди филологов, каковым я и являюсь), кто не читал вас? И еще Ара Маноян говорит, что вы из нынешних самый настоящий.

— Подожди... Ара Маноян?

— Да-да! Тот, который удалился от всех, когда умер Грант, и стал отшельником,— весело ответила Лилит.

— Ты знаешь Манояна?!

— Да! — Лилит рассмеялась.

— Гжвем*! Подумать только!

— Поцелуйте меня...

— Что?!

— Вы прекрасно слышали!

— А как же «вы меня видите третий раз в жизни»? Как же «репутация»?

— Вы дурак?

Репутация... Ваге Саакян не помнил, с чего это началось. Но помнил, с какой именно мысли.

Вроде, все шло хорошо. Он был уже известен, женат, родил сына, и казалось, все идет как надо (если не считать того, что сын был инвалидом), тихо, спокойно, размеренно, но вдруг он понял, что не может больше так жить. Самым отвратительным было то, что мысль эта пришла ниоткуда и без видимой причины. Просто надоело жить. Вот и все. И писательство больше не доставляло радости, как раньше. Теперь ему казалось, что все написанное до этих пор фальшиво, неинтересно, пресно. Самым правильным в данной ситуации, как ему казалось, было, конечно, покончить с собой. Но Ваге Саакян так и не решился (совсем как Лилит). И презирал себя за трусость.

Вообще он не понимал, в чем дело. Взъелся на жену, рыжую и голубоглазую Тагуи, которую на самом деле любил (тогда еще любил), стал невнимателен к сыну-калеке и в результате почти перестал ночевать дома и все чаще думал о том, что жизнь так и пройдет до конца — неинтересно. Всю жизнь ждешь, ждешь чего-то, но со временем понимаешь, что это бессмысленно, думал он, и терзался попытками

* С ума сойду (арм.).

выжать из себя шедевр. Но шедевр не родился, и уже понятно было, что нужно помирать. Однако, помирать, видимо, не хотелось, поэтому появилась *репутация*. Женщины. Очень много женщин.

Было уже лето. Не это, то, другое лето, что наступило после апреля. С самого утра ничего не хотелось делать из-за жары, обрушившейся на Ереван. В тот день Лилит должна была прийти к нему в берлогу, как он ее называл, — в однокомнатную квартиру, которую он снимал недалеко от Площади, на Тиграна Меца. Лилит опаздывала. Ваге уже начинал беспокоиться. Выключил свой Pentium II (казалось, от компьютера становится еще жарче), стал мерить шагами комнату, то и дело подходил к окну, смотрел на улицу, машины, людей. Видел, как полуденная усталость, исходящая от машин, людей, даже деревьев и стен зданий, поднимается все выше и выше и застилает собою небо. И от этой жары нельзя было убежать. Жара обнимала со всех сторон, как в котле с кипятком, и люди лишь чувствовали, как плавится под ногами асфальт.

Տըր, ողորձիւ՛ .

И вдруг!

— Вы меня ждали?

Лилит светилась каким-то особым светом. Казалась красивее, хотя это было невозможно. Весела, насмешлива, иронична и в то же время очень нежна. Так нежна, как не была никогда ни раньше, ни позже.

— Вы меня ждали? — повторила она.

— Почему ты опоздала? — спросил Ваге Саакян.

— Покупала вам подарок.

— Какой? Зачем? Мне не нужны подарки.

— А вы откройте, — сказала Лилит и протянула ему продолговатую коробочку в кальке, с бумажным бантиком.

Это был Паркер с золотым пером.

— Но это же очень дорого!

— Вовсе нет! И потом мне не на что тратить деньги, которые я получаю на работе... — Ее удержавшись, добавила: — В отличие от вас.

— Но у меня же не день рождения!

— Вы глупый, хоть и писатель. Разве для того, чтоб делать подарок, нужен повод? Этой ручкой не обязательно писать. Просто держите ее при себе. Достанете из кармана — меня вспомните, когда меня уже не будет.

— Но я же не смогу тебе сделать такой же подарок. Он слишком дорогой.

— Этот — нет. Но другой — да.

— Что ты имеешь в виду?

— У меня мечта. Погулять с вами по городу. Или вы меня стесняетесь?

— Нет, что ты!

Лилит приготовила кофе, они выпили и вышли погулять по городу, несмотря на жару. Несмотря на его многочисленных знакомых, которые останавливали их, здоровались, улыбались...

— А вы действительно меня любите?

— Конечно! Конечно! — заволновался Ваге Саакян. — А ты? Скажи, ты меня любишь?

— Я не люблю вас, — ответила Лилит, как отвечала всегда. — Мне нельзя вас любить. Вы женаты. — Потом вдруг расплакалась прямо на улице. — Почему любовь всегда невозможна? — А потом, так же как и всегда, неожиданно, рассмеялась. — Я заколдовала вас. И я всегда буду вас преследовать. Вам все время будет казаться, что я иду за вами, но нельзя будет повернуться и посмотреть. Но если вы все же обернетесь, вы не сможете меня увидеть. Я буду призраком.

Они гуляли по Еревану в первый и последний раз, а когда вернулись в его однокомнатную квартиру, она сказала:

— Спасибо за подарок!

И они в тот день любили друг друга с особой нежностью.

А потом главный редактор журнала Сурен Багдасар сказал Ваге Саакяну, что нужно написать большую статью о Гранте для журнала. И добавил:

— Ты ведь все-таки получаешь зарплату. Надеюсь, ты этого не забыл?

— Но как же, друг? Ты же знаешь, что я пишу книгу! Наконец-то пишу! У меня наконец-то стало получаться,— ответил, задыхаясь от злости, Ваге Саакян.

Сурен Багдасар холодно усмехнулся.

— Ты думаешь, твоя книга меня теперь интересует? Нет! Я не намерен платить тебе зарплату только потому, что ты е... шь мою молоденькую секретаршу!

И Ваге Саакян ушел, заявив, что больше не будет работать на журнал. А Сурен Багдасар, вытирая окровавленный нос, кричал ему вслед, что упрячет Ваге в тюрьму.

Через два дня с Ваге Саакяном случился первый инфаркт, и с Лилит они встретились лишь два месяца спустя.

— Знаешь, о чем я подумал? Что я вот так могу неожиданно умереть, и ты о моей смерти узнаешь из газет или в редакции.

— Вы говорите глупости! И еще я считаю, что нам надо расстаться. И это я не хочу жить. А вы должны!

И опять было лето. Все время лето, и время, казалось, остановилось этим летом, тем летом и другим летом тоже. И они продолжали встречаться.

22

Прошло пять лет. Целая жизнь в пяти секундах.

Они встречались на его съемной квартире на улице Тиграна Великого, хотя уже пятидесятилетний Ваге Саакян все больше чувствовал, что в ней становилось холодно, неуютно, казалось грязно... В один из тех последних дней он это как-то особенно остро почувствовал. Оделся, подошел к окну, закурил.

Гора была скрыта дымкой или туманом, ее нельзя было разглядеть из окна. Он просто знал, что она прямо напротив, очень близко, хоть и недосыгаемо далеко, по ту сторону границы, и даже чувствовал ее тяжелое и в то же время невесомое присутствие. Он хотел поговорить с Горой, как это делал всегда, когда чувствовал себя очень одиноким, но она словно скрывалась от него, и он почувствовал себя брошенным, отвергнутым, покинутым старым другом...

Он стоял у окна, курил и думал о Горе; жалел, что ее не видно.

Он не смотрел на Лилит, которая все еще тяжело и прерывисто дышала, закрыв глаза и вытирая слезы. Он знал, что это были не слезы боли, а слезы наслаждения...

Когда Лилит перестала всхлипывать и, успокоившись и все еще продолжая лежать, тоже закурила, он подумал, что нужно будет не забыть купить хлеба и колбасы — он вдруг почувствовал страшный голод. Подумал о Тагуи, о сыне-инвалиде... Подумал о том, что ничего не почувствовал. Он вообще в последнее время мало что чувствовал.

— О чем вы думаете? — спросила Лилит.

— Ни о чем,— ответил Ваге и сразу же начал думать о том, какого черта он делает в этой квартире, с Лилит... И вообще: какого черта?! Ему вдруг нестерпимо захотелось убежать. Вот так: бросить Лилит тут, на кровати, голую, накинуть на себя куртку и сбежать. Оказаться дома, в тепле, поесть.

Лилит стала одеваться, он не хотел смотреть на нее, только — поскорее сплавить и пойти домой.

Ваге Саакян знал, что в этот вечер будет рассеян, не сможет ничего делать, пораньше ляжет спать и заснет... А утром опять будет ждать от нее эсэмэс.

— Брось ее. Она будет тебя постоянно *угнетать*,— говорил Тигран своему другу. Тиграну почему-то всегда не нравилась Лилит.

Осенью, в тот последний ноябрьский день, Ваге Саакян и Лилит долго просидели в «Gusto», говорили, потом встали и ушли. Оба кофе были выпиты, но пирожное осталось нетронутым. Пепельница была полна окурков. И еще в ней лежала скомканная пачка от сигарет. У него была такая привычка: вынимая последнюю сигарету, комкать пачку.

Они долго сидели, говорили и теперь встали и ушли. Опять начался дождь. Все опять сделалось мокрым и слезливым. Минут через десять Ваге Саакян, купив сигареты, вернулся в «Gusto». Улыбающийся официант в черном фирменном фартуке подошел к нему.

— Принесите мне пиво. Самое горькое, какое у вас есть.

В тот последний осенний день, рано-рано утром, вместо привычного «Нам надо расстаться» Лилит и написала Ваге Саакяну: «Мы расстаемся». И они встретились, чтоб пойти в «Gusto» и — расстаться.

А через два дня все узнали, что скончался старый, очень старый писатель Ара Маноян. Он прожил отшельником, в полном одиночестве пять лет — почти целую жизнь в пяти секундах — в старой полуразрушенной крепости у деревни Паг, на вершине одного из холмов, окружающих древний городок Дзорк.

23

Уже несколько суток моросил дождь. Перестанет на десять-пятнадцать минут, потом снова начнет моросить. И так бесконечно. И влажно было все, мокро, в капельках, и дрожали листья на деревьях, и еще как-то очень грустно пахло — осенью. И вроде не очень было пока холодно, но все равно пахло прошедшей любовью. Осенью всегда пахнет любовью, ушедшей, потерянной, покинувшей... И хотелось вспоминать. Но было ли все то, о чем он теперь вспоминал? Не фантазии ли это? Теперь он сомневался: было ли?

Дождь стучал по стальным крышам гаражей во дворе, сипло кашляли водосточные трубы, и слышно было: проехал автомобиль — мокрое шипение по асфальту. И была глухая ночь, и немного — туман...

Было ли?

Нет, не было. Ничего не было! Все-то он придумал: прогулка по улицам Еревана, листопад, скверы, скамейки, *усыпанные* красно-желтыми листьями, диалоги, диалоги — все он придумал, все сочинил.

А были лишь ее глаза, смотревшие каждый раз внимательно, о чем-то явно говорившие. И все в нем однажды перевернулось, когда он понял, о чем эти глаза говорят. Но он не сказал ни единого слова, он молчал. Боялся, трусил: сломать свою уже устоявшуюся жизнь? Да никогда! А Лилит смотрела, ждала — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль и весь март... Он не смог победить страх, не смог пересилить трусость. Когда же он, казалось, решился, ее уже не было. Она ушла...

Дождь затихал, потом вовсе перестал, но Ваге знал: через десять-пятнадцать минут он снова начнет моросить.

А хотелось того бесконечного лета и бесконечного Солнца...

Потом встречали Новый 2008-й год. Там же, в редакции журнала. Тамадой торжественно был избран главный редактор Сурен Багдасар. И было весело, даже слишком. И все потом танцевали, бесились, пили вино, водку, шампанское, быстро пьянели, целовались, не ощущая вкуса поцелуя, высоко задирали ноги, тяжело

дышали. И сначала было много света, потом слишком мало света, а потом — слишком мало воздуха, и громкая музыка заглушала все, даже биение собственного сердца.

Ваге Саакян сидел за столиком, на котором были только бутылка шампанского, бокал и пепельница. Он был достаточно пьян, чтобы не слышать биения собственного сердца, но все остальное видел и слышал, и ничто из того, что он видел, не волновало его. Он только очень хотел, чтоб Лилит пришла... Шансов на то, что сейчас откроется дверь и войдет она, не было никаких, но он все равно надеялся. Человек всегда надеется, даже если уже перестал верить, вот он и надеялся, что она придет.

Время от времени к его столу подходили женщины — пьяные, потные, тяжело дышавшие, — звали его танцевать, но он показывал на сигарету: мол, докурю и приду, и продолжал сидеть, пил шампанское и смотрел на веселящихся.

Когда шампанское закончилось, он подумал, что пора идти домой, но оставался сидеть: а вдруг она все же придет? И сам спрашивал себя: «А почему она должна прийти? Ведь когда они расстались, она уволилась». И сам же отвечал: «Потому что я очень-очень ее жду...» И вдруг неожиданно жалостливо защемило под сердцем: «Я очень тебя жду...»

Он ушел домой, когда все разошлись: уже никто не танцевал, никто не целовался, никто не пытался услышать биение собственного сердца.

А небо было чистое, ясное, в звездах, он шел и смотрел на звезды, но потом опустил голову: вдруг понял, почему бывает страшно, когда долго смотришь на звездное небо, — звезды просто убивают своим равнодушием, своим холодным светом и тем, что они так далеки. Человеку страшно видеть такое безразличие, страшно осознавать, что он не нужен ни одной из этих звезд и они будут так же висеть над Землей, когда он умрет. Единственное, что утешало, это мысль, что некоторых из этих звезд давно не существует и мы видим лишь свет, только теперь доходящий до Земли...

Он вошел в свою пустую съемную квартиру и сразу же, не раздеваясь, лег на кровать, свернувшись калачиком.

Так он провел еще одну ночь, как и многие другие ночи.

Но однажды они случайно встретились. И это было почти чудо, он не поверил даже сначала, что это Лилит, подумал: показалось, но потом, когда они поговорили... Он старался быть веселым, пытался шутить, а когда понял, до какой степени ее глаза похожи на две далекие звезды на черном ночном небе, не попросившись, ушел. Он ушел, когда она сказала, что выходит замуж, и подумал, как счастлив был тогда, когда еще надеялся, что она придет. Теперь надеяться было не на что. Надежда умерла, когда они случайно встретились. И тогда наступило абсолютное одиночество.

Одиночество — это когда вдруг осознаешь, что многих звезд уже давно не существует и до нас доходит лишь их свет. Не так ли?

Говорили потом, что Лилит вышла замуж за какого-то еврея, который путешествовал по Армении, и переехала к нему жить в Гоа. А Ваге Саакян еще долго чувствовал, что Лилит его не отпускает, и он переехал в свою съемную квартиру на улице Тиграна Великого. И больше никогда не возвращался домой. Вернулся только однажды, в последний февральский день 2008 года.

В ночь на первое марта 2008 года покончил с собой сын Ваге Саакяна и аревиктор Тагуи. Звали его Вардан Саакян, он был инвалид с рождения, и ему совсем недавно исполнилось тринадцать лет. Никто не знает, сколько ударов за всю жизнь делает сердце человека. Никто никогда не может это подсчитать точно. Но там,

наверху, на небесах, куда мы все отправимся после смерти, знали: сердце его остановилось на 699048989-м ударе.

Տըր, ողորմեա՛ւ. Տըր, ողորմեա՛ւ. Տըր, ողորմեա՛ւ.

А пока еще, двадцать девятого февраля, Тагуи чувствовала себя отлично, хоть и мало спала — проснулась ни свет ни заря и сварганила пирожки. Настроение было отличное, как говорится, боевое. Так чувствует себя человек, который составил генеральный план сражения. Она даже несколько раз улыбнулась, сидя в своем кабинете, когда пила утренний кофе.

Тагуи Борисовна работала в ведомстве, которое подчинялось одному из министерств. Для своих сорока пяти лет она была красивой, стройной и все еще могла произвести впечатление на мужчин.

Ареви ктор Тагуи любила своего мужа, писателя Ваге Саакяна, и знала его, как ей казалось, досконально, вдоль и поперек (во всяком случае, в начальный период их брака). Она всегда прощала мужу его непрактичность, инертность, то, что он никак не участвовал в домашних делах. Ну, писатель, что с него возьмешь? Сначала то обстоятельство, что Ваге неизменно говорил: «Делай как считаешь нужным, дорогая», бесило ее, но потом она привыкла и смирилась, тем более что с некоторых пор научилась извлекать из этого выгоду. Она знала: что бы она ни предложила, Ваге ответит: «Делай как считаешь нужным, дорогая». И даже было неважно, что Тагуи догадывалась: Ваге просто не хочется спорить, обосновывать свое мнение. Ваге был как рыба, предпочитающая плыть по течению. Это вполне устраивало Тагуи. Она иногда замечала, что в Ваге есть нечто, что ускользает от ее практического ума женщины, наделенной недюжинными деловыми качествами. Но с этим она тоже смирилась: знала, что в тот потаенный уголок его сердца вход запрещен не только ей, но и всем другим. Несмотря на все это, Тагуи обожала Ваге, не представляла себе жизни без него, хоть и замечала, что браку их наступает конец, а когда он написал ей письмо и ушел, она и вовсе перепугалась не на шутку. Когда все это началось, она даже не могла бы сказать. Чувствовала, что Ваге все больше отдаляется от нее. По мере того как рос сын Вардан Ваге становился, казалось, все более прозрачным и неосязаемым. Его, как рыбу, невозможно было поймать: он выскальзывал из рук. Если раньше Тагуи с уверенностью могла сказать, что знает Ваге на девяносто процентов, то теперь область, называемая Тагуи *terra inkognita*, сильно расширилась. Ваге все больше молчал, больше замыкался в себе, больше стал курить. То, что они с Ваге все реже занимались сексом, Тагуи считала нормальным (не молодые уже!). Но ее беспокоило то обстоятельство, что он перестал замечать ее вовсе. Смотрел как бы сквозь нее, отвечал рассеянно, невпопад, часто переспрашивал. Из всего этого Тагуи, которая действительно была женщиной умной, сделала вывод: внутри у Ваге что-то происходит. Что — она не знала. Однажды Тагуи спросила его, что с ним происходит в последнее время, но он ответил, что просто обдумывает роман. И Тагуи решила, что все это связано с возрастом. Она вычитала, что для мужчин, приближающихся к пятидесятилетнему рубежу, такое поведение нормально. В том же журнале было написано, что в этот период к мужчине нужно проявить особую чуткость, помочь ему «заново построить здание своей внутренней, душевно-духовной жизни». Наблюдая за мужем, Тагуи поняла, что все симптомы «кризиса среднего возраста» у Ваге налицо («У этих мужчин кризисы каждое десятилетие!»). А потом ей рассказали, что у Ваге в жизни появилась некая молодая Лилит...

СОХРАНИТЬ БРАК. Это врзалось в сознание Тагуи и стало ее навязчивой идеей. Опять же как женщина умная, Тагуи понимала, что «мятущийся кораблик души» ее супруга может после длительного плавания вернуться не в родную гавань, а пристать к совершенно другому берегу, неизведанному, экзотическому. **СПАСТИ БРАК.** Эту борьбу она, Тагуи, должна была выиграть, поэтому она решила стать верным штурманом для кораблика, помочь ему пристать к родным берегам и уже начала составлять стратегический план действий.

Сидя у себя в кабинете, в одном из ведомств министерства, Тагуи утром последнего дня февраля 2008 года пила кофе — особый ритуал, которому неизменно следовали в ведомстве все. Особых дел в тот день не было, и Тагуи никто не мешал размышлять. Она думала о Ваге: он появился сегодня рано утром — целых два месяца его не было — сказал, что останется, поболтает с сыном, пока она не вернется с работы, и Тагуи решила, что это шанс. Она, конечно же, простит *увлечение* мужа этой маленькой сучкой Лилит. В этот момент в дверь постучали, и вошел начальник соседнего отдела Эдмон. Эдмон Наапетович был высок, тонок, в изящном и дорогом костюме, идеально выглаженной белоснежной рубашке, синем галстуке, до блеска начищенных туфлях и дымчатых очках. Когда-то Эдмон и Тагуи учились на одном курсе в Консерватории — она по классу фортепиано, он — виолончели, потом вместе же стали преподавать. Но это было давно, кажется, в прошлой жизни. Теперь же оба возглавляли отделы ведомства при министерстве.

В тот день Эдмон был чем-то озабочен.

— Что-то случилось? — спросила Тагуи.

Эдмон закурил, хоть прекрасно знал, что в кабинете Тагуи не курят.

— Скорее да, чем нет, — ответил он. — А если быть еще точнее, то может случиться.

— А в чем дело?

Эдмон не ответил. Он потушил недокуренную сигарету и предложил после работы сходить в кафе или ресторан, чтобы спокойно поговорить.

— Ты сможешь? — спросил он.

— Да, вероятно, смогу, — ответила Тагуи, несколько взволнованная, ибо за последние десять лет никто ее не приглашал в кафе и тем более в ресторан. Она всегда отвергала предложения поклонников.

— Тогда договорились. — Эдмон встал. — После работы жду тебя внизу.

Тагуи подумала: придется позвонить Ваге и сказать, что она задержится. Она поморщилась (надо же было, чтоб он вернулся именно сегодня!). Это наверняка покажется ему странным. Ведь за все время их брака она никогда не звонила мужу и не говорила, что опоздает. Тем более что она не знала, что сказать Ваге. Сказать, что она после работы пойдет с Эдмоном в кафе? Может, тем самым она проверит, насколько Ваге ревнив? У нее за всю их жизнь не было случая проверить это! Тагуи никогда ни с кем, кроме как с ним, никуда не ходила и не опаздывала домой. Тагуи была немного смущена: ей показалось, что она изменит мужу, что-то утаив от него. Это волновало. И это ей нравилось. И она просто написала (не позвонила!) Ваге эсэмэс, что задержится после работы.

Ресторанчик был небольшой, скромный, но, по словам Эдмона, тут прекрасно кормили.

Тагуи и Эдмон сели за столик и заказали подошедшему к ним официанту жареную стерлядь и графин белого вина. Они ели и пили с большим аппетитом, говорили о работе, о детях, о разных пустяках, а когда подали кофе, Тагуи попросила Эдмона перейти к делу.

— Но ты же сообщила Ваге, что опоздаешь? — улыбнулся Эдмон.

— Да, — согласилась Тагуи, не зная, куда клонит ее бывший однокурсник. — Ну и что с того?

— А то, что я собираюсь рассказать о такой важной вещи, что тебе придется смириться с тем, что твой сын и никудышный муж поужинают без тебя.

— Почему ты называешь его никудышным мужем?

— Сама знаешь.

— Давай по существу, Эдмон. Не думаю, что ты пригласил меня в ресторан, чтоб говорить о нравственных качествах моего мужа.

— Согласен, — сказал Эдмон, закуривая. — Послушай: грядут большие перемены...

- В смысле?
- Всего я тебе рассказать не могу, Тагуи. Но готовится большая заварушка. А потом — всякие перестановки, рокировки, смещения, отставки.
- И к чему ты это все говоришь?
- Нужно свалить. Зарыться недели на две. Подождать, пока все уляжется. Желательно уже этой ночью.
- О чем ты?!
- Уедем на Севан.
- Ваге меня не отпустит из города, — сказала Тагуи.
- Ты ему скажешь, что по делам министерства уезжаешь на две недели в районы. Он же останется в городе с сыном, раз уж он вернулся домой. Это более чем серьезно, Тагуи. Ты же умная женщина, неужели не понимаешь?
- Хорошо, Эдмон. Завтра мы обсудим детали. Приходи пораньше утром ко мне в кабинет. А теперь я хочу домой.
- Ладно. Предупреди на всяких случай Ваге, что ты уже завтра можешь уехать из города.
- Хорошо... — Тагуи посмотрела в глаза Эдмону. — В последний раз я выезжала за город год с лишним назад, когда освящали новую церковь в Аратаворе.
- Ну, вот и прокатишься.
- Тогда едем завтра. Не надо тут оставаться, когда все начнется. Одного не могу понять, Эдмон: почему ты мне это рассказал?
- Я люблю тебя, Тагуи!
- Ой, Эдмон-джан, не говори чепухи! Все, я поехала. Спасибо за ужин. До завтра.

Тагуи встала и направилась к двери. В уме она уже прокручивала диалог с мужем. Сам факт бегства представлялся ей противным, но она понимала, что другого выхода нет. Если действительно в ближайшие дни начнется заваруха, то лучше не находиться в это время в Ереване.

Тагуи не знала, что все случится именно в ту ночь, на пятницу 1 марта 2008 года (в ту самую злополучную ночь, когда покончит с собой ее сын), — произойдут столкновения митингующих на площади Свободы с органами правопорядка. Часть протестующих побежит в конец Проспекта, который тут же будет заблокирован. Будут слышны выстрелы, крики людей, переворачивающих автомобили... Проспект в мгновение ока оденется в паутину из колючей проволоки. В нижней части улицы станут патрулировать БМП...

Среди погибших на Проспекте утром первого марта оказался недавно приехавший в Ереван Закар Сатарян, владелец маленького магазинчика «Ануш», что располагался недалеко от церкви Святой Мариам в Дзорке. У Зако были рыжие, коротко стриженные волосы, большая голова и маленькое тельце, и он никогда не интересовался политикой. Зачем он приезжал в Ереван в те дни, никто не знал, в том числе и его жена, миниатюрная Анушик, работавшая некогда в Доме радио в Дзорке, но уволившаяся оттуда по настоянию мужа незадолго до того, как директор Независимой радиокomпании Дзорка Арам Назарян переехал в Ереван, и воспитывающая теперь единственного сына, которому уже исполнилось пять лет. Кроме кошелька и мобильного Siemens ME 65 в кармане Зако обнаружили только клочок бумаги, на котором было карандашом написано: «Дом радио, Алек Манукян 5, третий этаж. Арам Назарян».

А четвертого марта 2008 года, спустя три дня после событий первого марта, начались военные столкновения в Мардакертском районе Нагорно-Карабахской Республики. И это столкновение было самым крупным между вооруженными силами Арцаха и Азербайджана, начиная с подписания Соглашения о прекращении огня 1994 года.

Տէր, ղղորմեա՛. Տէր, ղղորմեա՛. Տէր, ղղորմեա՛.

Никто не знал ничего тогда в Ереване. И никто не мог предположить, что эти два события фактически означают конец эпохи нулевых. Но что-то сломалось тогда, и что-то стало уходить и не вернулось больше. Ушла эпоха нулевых, а вместе ней ушли и все надежды, связанные с будущим. Все, что было хорошего раньше, зачахло, сморщилось, иссякло — закончилось. Плоды, не успев созреть, превратились в сухофрукты. И все тогда постарело, и наступило Одинокое время, как будто туман опустился на землю. Никто не мог видеть другого. И мир изменился, став не похожим на мир прежний. Наступили десятые — суровые и одинокие. И чем дальше, тем более одинокими они становились. А может, так казалось тем, кто постарел вместе с этим временем?..

Эпилог

Был апрель. Полудожливый, полусолнечный, полуснежный день. Обычный московский день.

— Гора находится на полпути между мысом Доброй Надежды и Беринговым проливом, где-то посередине материка Евразия. Является она центром оси Гибралтарский пролив — Байкальское озеро и окружности Черное — Средиземное — Каспийское моря. На вершине этой Горы наиболее сближаются три континента: Европа, Азия, Африка. Эта Гора, на которой всегда много снега, не дает начала ни одной реке, речке, речушке. Говорят, что Гора — она же из вулканической пемзы — впитывает в себя всю влагу, образующуюся от таяния снегов. Возраст Горы — около трех с половиной миллионов лет. Рядом с ней находится Малый Арарат (Сис), которому около ста пятидесяти тысяч лет. То есть Большой Арарат больше прожил в одиночестве, чем в паре с Малым Араратом...

— Зачем ты мне все это рассказываешь, Ваге?

— Чтоб знал. Ты же не знаешь. Вот я тебе и рассказываю. Ведь ты готовишь перевод последней книги Ара Манояна! Как же ты поймешь книгу Манояна, если ничего не знаешь о Горе?

Шестидесятилетний русский прозаик Алексей Савелин и его друг, пятидесятидевятилетний армянский прозаик Ваге Саакян вышли из ресторана «В.В.» и зашагали под заморосившим снова весенним колючим дождем по Скатертному переулку.

— Нет, ты мне лучше вот что скажи: я очень хороший человек? Или очень плохой?

— Хороший, хороший... Только ты очень пьяный человек. Давай я тебя домой провожу. Поздно уже.

— А откуда ты знаешь, что я хороший человек? — не унимался русский прозаик Савелин. — Может, я мудило. А?

— Да нет... Вроде хороший. Я ж с тобой выпивал. И ты хочешь сделать книгу переводов армянской поэзии, как Брюсов, и перевести последний роман Манояна... — отвечал терпеливо армянский прозаик Саакян.

— А если я прикидываюсь хорошим? — не унимался очень пьяный русский прозаик. — Эх ты, лопух! К тому же плохой может стать хорошим, а хороший — плохим. Так что не надо меня провожать. Пусти!

— Да куда ж ты, дурак, такой один пойдешь? Стой! — начинал уже сердиться не очень пьяный прозаик.

— На «Тверскую»!

— «Арбатская» ближе!

— Знаю! Я москвич или ты? Я хочу на «Тверскую»!

— Ну, хорошо. Может, и протрезвеешь по дороге немного. В метро тебя в таком виде не пустят. Ты к тому ж еще и классик! Не дай бог, кто-то узнает...

— Иди к черту со своим саакяновским юмором! — Русский прозаик споткнулся, но удержал равновесие, выругался и застонал: — Оооо! Бл&ди! Все бл&ди! Знаешь, кругом одни бл&ди и пидоры! Очень трудно стало жить! Почти невозможно. А будет еще хуже!

— Хорошо-хорошо,— сказал Ваге Саакян, и они продолжили идти по Скатертному переулку.

Официант ресторана «В.В», вышедший на крыльцо покурить, смотрел им вслед: толстый, низкий, очень пьяный русский и тонкий, длинный, лишь навеселе кавказец, хоть и с голубыми глазами. «Гомосеки, бл...», — подумал официант, плюнул себе под ноги, потушил в урне сигарету и вернулся в зал ресторана.

Савелин же с Саакяном, поддерживая друг друга, вышли на Малый Ржевский, потом в Ножовый переулок и, перейдя Большую Никитскую улицу, пошли по Вознесенскому проезду.

— Вот в этом храме восемнадцатого февраля тысяча восемьсот тридцать первого года состоялось венчание поэта Александра Пушкина с Натальей Гончаровой,— сказал Алексей Савелин.

— Знаю,— ответил Ваге Саакян, и они пошли дальше.

Пройдя немного по Малой Никитской, вышли на Спиридоновку.

— Видишь? Памятник Блоку!

— Вижу.

— Вот на этой скамейке напротив памятника в две тысячи девятом (блин, семь лет прошло!) я целовался с прозаиком Алёной Генриховной.

— Зачем ты мне это рассказываешь? — спросил, удивляясь, Ваге Саакян.

— Как зачем? — Алексей Савелин благодаря прогулке стал понемногу трезветь. — Ты ж собирался написать «московский» рассказ и послать в «Дружбу». Нет?

— То есть ты думаешь, что без информации о том, где ты целовался с Аленой, я не напишу рассказ?!

— Ты знаком с Алёной, Ваге-джан?

— Не так, как ты...

— Опять твои саакяновские шуточки! Странно, дорогой мой, у тебя такой хороший юмор, а пишешь ты все-таки мрачно! — рассмеялся русский прозаик, когда они уже пошли по Большой Бронной («Смотри, дом-музей Рихтера! Смотри, сразу две синагоги! Смотри, это “Форте”, тут была столовая Лита днем, а по вечерам клуб! Тут такой джаз играют!»).

На «Тверской» писатели расстались. Ваге Саакян попытался пошутить насчет их общей «зеленой» ветки, но у него ничего не получилось и, просто расцеловав Алексея Савельева в обе щеки и пожелав ему не прозевать свою «Павелецкую», он сел в противоположный поезд, отметив в телефонном приложении Яндекс.Метро уже ставшую родной станцию «Аэропорт», и уехал. В вагоне поезда на одной из сидений лежал в беспомощности пьяный мужчина, свесивший некрасиво руку и ногу в проход, мешая пассажирам пройти в другой конец вагона. В кулаке свесившейся руки он сжимал какие-то монеты. Пассажиры стояли или сидели в другом конце вагона, шептались, кто-то осуждал пьяного мужчину, но в основном все — как это всегда бывало в Москве — относились к спящему снисходительно и с пониманием. Наконец в вагон на одной из станций вошел накачанный молодой человек в спортивке и, проходя вглубь вагона, бросив презрительно: «Пьянь!», толкнул пьяного, да так, что тот, не приходя в сознание, упал со скамейки на пол и рассыпал всю мелочь, которую сжимал в руке. Число пассажиров, сочувствующих мертвецки пьяному мужчине, увеличилось еще больше. И тогда молодой парень с рюкзаком через плечо — с виду студент — набросился на толкнувшего в спортивке.

— Ты что, мразь, не видишь, человеку плохо, он спит, что ты его пинаешь?!

Одна из бабулек стала собирать с пола рассыпавшуюся мелочь и, опустившись на колени рядом с упавшим, попыталась вложить монеты ему в безжизненную

руку. Накачанный в спортивном костюме уже готов был заехать студенту в челюсть (пассажиры всюду осуждали его), но тут произошло нечто, что заставило всех оцепенеть на несколько секунд. Пьяный пришел в себя. Ничего не соображая, он посмотрел вокруг, потом на бабулю, которая совала ему в руки монеты («Милок, возьми, это твои монеты, деньги тебе пригодятся, возьми, милочк!»), пробурчал:

— Бабуль... Иди на х..., бабуль...

Рука накачанного, готовая уже нанести удар, повисла в воздухе, оцепенел от удивления и сам студент, да и все пассажиры застыли в недоумении — ведь теперь неясно было, кого осуждать: качка, который пнул, или спящего мужика, который послал старую женщину...

Ваге Саакян усмехнулся в душе и подумал, что прав был Савелин: плохое может стать хорошим, а хорошее — плохим. Теперь он знал, что так бывает. Но что еще — Ваге Саакян не знал. Теперь ему казалось, что он больше никогда ничего не будет знать ТОЧНО и что порой бывает так, что после Ночи бывает Ночь, и даже после Зимы может наступить Зима.

Вот он уехал в Москву, Тигран уехал в Америку в свой Google, Арам Назарян обосновался в Барселоне, Гарик же вернулся в Ереван и, как поговаривали, спился. Что дальше? Ваге Саакян никак не мог знать. Он, как, впрочем, и Липарит Овсепян, погибший, когда ему было тридцать четыре года, в апрельской войне 2016-го и проживший последние одиннадцать лет в маленьком карабахском селе Левонарх, никак не могли знать еще о том, что в это же самое время Лилит («Лило-джан, Лило!»), сидя на берегу Аравийского моря, в штате Гоа, в бунгало своего еврейского мужа, прочла последние слова романа великого Ара Манояна, и они заставили ее почувствовать нечто, очень похожее на *карот*^{*}: «А потом пошел снег, и город сразу же преобразился. Земля уже была мертвая и замерзшая (осень умерла раньше, чем ожидалось), и поэтому снег ложился, не таял и скрывал под собой опавшие листья — свидетельства последней красоты и смерти Осени. Снег шел большими хлопьями, дул ветер, и казалось, Зима хочет что-то наверстать, что-то упущенное и потерянное...»

Տէր, դժբախտ՝. Տէր, դժբախտ՝. Տէր, դժբախտ՝.

Ереван,
30 декабря 2017 г.

^{*} Тоска по ком-либо или по Родине (арм.).